# Казус Кукоцкого

**Автор:**
Людмила Улицкая

Казус Кукоцкого

Людмила Евгеньевна Улицкая

Писательница Людмила Улицкая не нуждается в представлении – она давно завоевала признание читателей и на родине, и за рубежом. Ее книги переведены на многие языки мира, она – обладательница престижных премий, и самое главное – у нее есть своя преданная читательская аудитория.

И вот новый роман Улицкой, над которым она работала несколько последних лет. Несомненно, это произведение зрелого мастера, который помещает свое повествование не только в границы близкого нам времени и наполняет сюжетами и реалиями недавнего прошлого, но и выводит его за пределы бытийного пространства в поисках смысла человеческого существования.

"Большой кусок моей жизни был связан с биологией, но по прихоти судьбы меня вынесло на другой берег. Те годы оставили значительный след в моей жизни. Это тогда мне открылось родство профессии врача с деятельностью жреца или священника, это оттуда и множество сложнейших вопросов: где границы человеческой свободы, и гае пролегают границы между здоровьем и болезнью, между жизнью и смертью...

В романе «Казус Кукоцкого» нет ответов на эти вопросы, но есть размышления на эту тему, внутреннее движение в ту сторону, откуда ответы могут прийти. Рано или поздно в жизни каждого человека наступает момент, когда эти размышления становятся неизбежными".

Людмила Улицкая

Людмила Улицкая

# Казус Кукоцкого

Истина лежит на стороне смерти.

Симона Вайль

## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

### 1

С конца семнадцатого века все предки Павла Алексеевича Кукоцкого по мужской линии были медиками. Первый из них, Авдей Федорович, упоминается в письме Петра Великого, написанном в 1698 году в город Утрехт профессору анатомии Рюйшу, у которого за год до того под именем Петра Михайлова русский император слушал лекции по анатомии. Молодой государь просит принять в обучение сына аптекарского помощника Авдея Кукоцкого «по охоте». Откуда взялась сама фамилия Кукоцких, доподлинно не известно, но, по семейной легенде, предок Авдей происходил из местности Кукуй, где построена была при Петре Первом Немецкая слобода.

С того времени фамилия Кукоцких встречается то в наградных листах, то в списках школьников, заведенных в России с Указов 1714 года. Служба после окончания этих новых школ открывала «низкородным» дорогу к дворянству. После введения табели о рангах Кукоцкие по заслугам принадлежали «лучшему старшему дворянству во всяких достоинствах и авантажах». Один из Кукоцких упоминался в списках слушателей доктора Иоханна Эразмуса из Страсбурга, первого западного врача, читавшего в России среди прочих медицинских дисциплин «бабичье искусство».

С детства Павел Алексеевич испытывал тайный интерес к устройству всего живого. Иногда – обычно это случалось перед ужином, когда образовывалось неопределенное, незаполненное время, – ему удавалось незаметно пробраться в отцовский кабинет, и он, замирая сердцем, доставал со средней полки шведского, с тяжелыми выдвижными стеклами шкафа три заветных тома известнейшей в свое время медицинской энциклопедии Платена и располагался с ними на полу, в уютном закутке между выступом голландской печки и шкафом. В конце каждого тома помещались раскладные фигуры розовощекого мужчины с черными усиками и благообразной, но сильно беременной дамы с распахивающейся для ознакомления с плодом маткой. Вероятно, именно из-за этой фигуры, которая для всех – никуда не денешься! – была просто голой бабой, он и скрывал от домашних свои исследования, боясь быть уличенным в нехорошем.

Как маленькие девочки без устали переодевают кукол, так и Павел часами собирал и разбирал картонные модели человека и его отдельных органов. С картонных людей последовательно снималось кожаное одеяние, слои розово-бодрой мускулатуры, вынималась печень, на стволе пружинистых трахей вываливалось дерево легких, и, наконец, обнажались кости, окрашенные в темно-желтый цвет и казавшиеся совершенно мертвыми. Как будто смерть всегда скрывается внутри человеческого тела, только сверху прикрытая живой плотью, – об этом Павел Алексеевич станет задумываться значительно позже.

Здесь, между печкой и книжным шкафом, и застал его однажды отец, Алексей Гаврилович. Павел ожидал нахлобучки, но отец, посмотрев вниз со своей огромной высоты, только хмыкнул и обещал дать сыну кое-что получше.

Через несколько дней отец действительно дал ему кое-что получше – это был трактат Леонардо да Винчи «Dell Anatomia», литер А, на восемнадцати листах с двумястами сорока пятью рисунками, изданный Сабашниковым в Турине в конце девятнадцатого века. Книга была невиданно роскошной, отпечатана в трехстах пронумерованных от руки экземплярах и снабжена дарственной надписью издателя. Алексей Гаврилович оперировал кого-то из домочадцев Сабашникова…

Отдавая книгу в руки десятилетнего сына, отец посоветовал:

– Вот, посмотри-ка… Леонардо был первейшим анатомом своего времени. Лучше его никто не рисовал анатомических препаратов.

Отец говорил еще что-то, но Павел уже не слышал – книга раскрылась перед ним, как будто ярким светом залило глаза. Совершенство рисунка было умножено на немыслимое совершенство изображаемого, будь то рука, нога или рыбовидная трехглавая берцовая мышца, которую Леонардо интимно называл «рыбой».

– Здесь, внизу, естественная история, зоология и сравнительная анатомия, – обратил Алексей Гаврилович внимание сына на нижние полки. – Можешь приходить сюда и читать.

* * *

Счастливейшие часы своего детства и отрочества Павел провел в отцовском кабинете, восхищаясь изумительными сочленениями костей, обеспечивающими многоступенчатый процесс пронации – супинации, и волнуясь чуть не до слез над схемой эволюции кровеносной системы, от простой трубки с тонкими включениями мышечных волокон у дождевого червя до трехтактного чуда четырехкамерного сердца человека, рядом с которым вечный двигатель казался задачкой для второгодников. Да и сам мир представлялся мальчику грандиозным вечным двигателем, работающим на собственном ресурсе, заложенном в пульсирующем движении от живого к мертвому, от мертвого – к живому.

Отец подарил Павлику маленький медный микроскоп с пятидесятикратным увеличением – все предметы, не способные быть распластанными на предметном стекле, перестали интересовать мальчика. В мире, не вмещавшемся в поле зрения микроскопа, он замечал только то, что совпадало с изумительными картинками, наблюдаемыми в бинокуляре. Например, орнамент на скатерти привлекал его глаз, поскольку напоминал строение поперечно-полосатой мускулатуры…

– Знаешь, Эва, – говорил Алексей Гаврилович жене, – боюсь, не станет Павлик врачом, голова у него больно хороша… Ему бы в науку…

* * *

Сам Алексей Гаврилович всю жизнь тянул двойную лямку педагогической и лечебной работы – заведовал кафедрой полевой хирургии и не прекращал оперировать. В короткий отрезок между двумя войнами, русско-японской и германской, он одержимо работал, создавая современную школу полевой хирургии, и одновременно пытался привлечь внимание Военного министерства к очевидному для него факту, что грядущая война изменит свой характер и начавшийся только что век будет веком войн нового масштаба, нового оружия и новой военной медицины. Система полевых госпиталей должна была быть, по мнению Алексея Гавриловича, полностью пересмотрена, и главный упор надо делать на скоростную эвакуацию раненых и создание централизованных профилированных госпиталей…

Германская война началась раньше, чем ее предвидел Алексей Гаврилович. Он уехал, как тогда говорили, на театр военных действий. Его назначили начальником той самой комиссии, о создании которой он так хлопотал в мирное время, и теперь он разрывался на части, потому что поток раненых был огромным, а задуманные им специализированные госпитали так и остались бумажными планами: пробить бюрократические стены в довоенное время он не успел.

После жестокого конфликта с военным министром он бросил свою комиссию и оставил за собой передвижные госпитали. Эти его операционные на колесах, устроенные в пульмановских вагонах, отступали вместе с недееспособной армией через Галицию и Украину. В начале семнадцатого года артиллерийский снаряд попал в хирургический вагон и Алексей Гаврилович погиб вместе со своим пациентом и медсестрой.

В том же году Павел поступил на медицинский факультет Московского университета. В следующем его отчислили: отец его был ни много ни мало полковником царской армии. Еще через год, по ходатайству профессора Калинцева, старого друга отца, заведующего кафедрой акушерства и гинекологии, его восстановили в студенчестве. Калинцев взял его к себе, прикрыл грудью.

Учился Павел с той же страстью, с какой игрок играет, пьяница пьет. Его одержимость в занятиях создали ему репутацию чудака. В отличие от матери, женщины избалованной и капризной, он почти не замечал материальных лишений. После смерти отца, казалось, уже ничего нельзя было потерять.

В начале двадцатого года Кукоцких «уплотнили» – в их квартиру вселили еще три семьи, а вдове с сыном оставили бывший кабинет. Университетская профессура, кое-как выживавшая при новой власти, ничем помочь не могла – их всех тоже изрядно потеснили, да и революционный испуг не прошел: большевики уже продемонстрировала, что человеческая жизнь, за которую привыкли бороться эти прогнившие интеллигенты, копейки не стоит.

Эва Казимировна, мать Павла, была привязана к вещам и бережлива. Она втиснула в кабинет почти всю свою варшавскую мебель, посуду, одежду. Почтенный отцовский кабинет, когда-то просторный и деловой, превратился в складское помещение, и, сколько ни просил Павел избавиться от лишних вещей, мать только плакала и качала головой: это было все, что осталось у нее от прежней жизни. Но продавать тем не менее все же приходилось, и она постепенно расторговывала на толкучке свои несметные сундуки с обувью, воротничками, салфеточками, обливая каждую мелочь слезами вечного прощания…

Отношения матери и сына как-то охладели, расстроились, и еще через год, когда мать вышла замуж за непристойно молодого Филиппа Ивановича Левшина, мелкого начальника из железнодорожников, Павел ушел из дома, оставив за собой право пользоваться отцовской библиотекой.

Но ему редко удавалось добраться до материнского дома. Он учился, работал в клинике, много дежурил и ночевал где придется, чаще всего в бельевой, куда пускала его старая кастелянша, помнившая не только Павлова отца, но и деда…

Ему уже исполнился двадцать один год, когда мать родила нового ребенка. Взрослый сын подчеркивал ее возраст, и молодящаяся Эва Казимировна страдала. Она дала Павлу понять, что присутствие его в доме нежелательно. Отношения между ним и матерью с этого времени пресеклись.

Через некоторое время медицинский факультет отделился от университета, произошли перестановки. Умер профессор Калинцев, и на его место пришел другой человек, партийный выдвиженец, без какого бы то ни было научного имени. Как ни странно, Павлу он благоволил, оставил на кафедре в ординатуре. Фамилия Кукоцких в медицинском мире была известна не менее, чем фамилия Пирогова или Боткина.

Первая научная работа Павла была посвящена некоторым сосудистым нарушениям, вызывающим самопроизвольные выкидыши на пятом месяце беременности. Нарушения касались самых малых капиллярных сосудов, и интересовали они Павла по той причине, что он тогда носился с идеей воздействия на процессы в периферических областях кровеносной и нервной системы, считая, что ими легче управлять, чем более высокими разделами. Как и все ординаторы, Павел вел больных в стационаре и принимал два раза в неделю в поликлинике.

Именно в тот год, осматривая на поликлиническом приеме женщину с регулярными выкидышами на четвертом-пятом месяцах беременности, он обнаружил, что видит опухоль желудка с метастазами – один очень заметный в печень, второй, слабенький, в область средостения. Он не нарушил ритуала осмотра больной, но дал ей направление к хирургу. Потом он долго сидел в кабинете, не приглашая следующую пациентку, пытаясь понять, что же с ним такое произошло, откуда взялась эта схематическая цветная картинка вполне развитого рака…

С этого дня открылся у Павла Алексеевича этот странный, но полезный дар. Он называл его про себя «внутривидением», первые годы осторожно интересовался, не обладает ли кто из его коллег подобной же особенностью, но так и не напал на след.

С годами его внутреннее зрение укрепилось, усилилось, приобрело высокую разрешающую способность. В некоторых случаях он даже видел клеточные структуры, окрашенные, казалось, гематоксилином Эрлиха. Злокачественные изменения имели интенсивно лиловый оттенок, области активной пролиферации трепетали мелкозернистым багровым… Зародыш с самых первых дней беременности он видел как сияющее светло-голубое облачко…

Бывали дни и недели, когда «внутривидение» уходило. Павел Алексеевич продолжал работать: смотрел больных, оперировал. Чувство профессиональной уверенности не покидало его, но в душе возникало тонкое беспокойство. Молодой доктор был, разумеется, материалистом, мистики не терпел. Они с отцом всегда посмеивались над увлечениями матери, то посещавшей великосветские посиделки со столоверчением, то предававшейся мистическим шалостям с магнетизмом.

К своему дару Павел Алексеевич относился как к живому, отдельному от себя, существу. Он не мучился над мистической природой этого явления, принял его как полезное подспорье в профессии. Постепенно выяснилось, что дар его был аскетом и женоненавистником. Даже слишком плотный завтрак ослаблял внутривидение, так что Павел Алексеевич усвоил привычку обходиться без завтрака и первый раз ел в обед или, если во второй половине дня был поликлинический прием, вечером. Что же касалось физической связи с женщинами, то она на время исключала какую бы то ни было прозрачность в наблюдаемых больных.

Он был хороший диагност, его медицинская практика, по сути, не нуждалась в такой незаконной поддержке, но научная работа как будто просила помощи: сокровенная судьба сосудов хранила тайны, готовые вот-вот открыться… Так получилось, что личная жизнь вошла в некоторое противоречие с научной, и, расставшись со своей пунктирной привязанностью, хирургической сестрой с холодными и точными руками, он мягко избегал любовных связей, слегка побаивался женской агрессивности и привык к воздержанию. Оно было не особенно тяжким для него испытанием, как все, что происходит по собственному выбору. Изредка ему нравилась какая-нибудь медсестричка или молоденькая врачиха, и он прекрасно знал, что каждая из них придет к нему по первому же слову, но «внутривидение» было ему дороже.

Свое добровольное целомудрие он вынужденно защищал – он был одинок, по нищенским понятиям того времени богат, в своей области знаменит, может, не красавец, но мужественен и вполне привлекателен, и по всем этим причинам, из которых хватило бы и одной, каждая женщина, приметив его слегка заинтересованный взгляд, начинала такой штурм, что Павел Алексеевич едва ноги уносил.

Некоторые его коллеги-женщины даже полагали, что в нем есть скрытый мужской изъян, и связывали это с самой его профессией: какие могут быть влечения у мужчины, который каждый день по долгу службы шарит чуткими пальцами в сокровенной женской тьме…

Кроме фамильной приверженности медицине, была еще одна своеобразная родовая черта у мужчин Кукоцких: они добывали себе жен, как добывают военные трофеи. Прадед женился на пленной турчанке, дед – на черкешенке, отец – на полячке. По семейному преданию, все эти женщины были, как одна, сумасбродными красавицами. Однако примеси чужой крови мало меняли родовой облик крупных, скуластых, рано лысеющих мужчин. Гравюрный портрет Авдея Федоровича руки неизвестного, но явно немецкой выучки художника, хранимый и по сей день потомками Павла Алексеевича, свидетельствует о силе этой крови, проводящей вдоль времени семейные черты.

Павел Алексеевич Кукоцкий тоже был женат военным браком – скоропалительным и неожиданным. И хотя его жена Елена Георгиевна не была ни пленницей, ни заложницей, увидел он ее впервые в ноябре сорок второго года в небольшом сибирском городке В., куда была эвакуирована клиника, которой он заведовал, на операционном столе, и была она в таком состоянии, что Павел Алексеевич прекрасно отдавал себе отчет – жизнь женщины, лица которой он еще и не видел, находится не в его власти. Доставили ее по «Скорой помощи» и поздно. Очень поздно…

Среди ночи Павла Алексеевича вызвала его заместительница Валентина Ивановна. Она была прекрасным хирургом, знала, что и он ей вполне доверяет, но здесь был какой-то особый случай. Чем – она и сама не смогла объяснить. Послала к нему на квартиру, подняла и попросила прийти. Когда он вошел в операционную, уже «размытый», подготовленный к операции, она как раз проводила скальпелем разрез по обработанной поверхности…

Он стоял за спиной Валентины Ивановны. Его особое зрение включилось само собой, и он видел уже не операционное поле, над которым трудилась Валентина Ивановна, а все целиком женское тело, редкой стройности и легкости позвоночник, узковатую грудную клетку с тонкими ребрами, несколько выше обычного расположенной диафрагмой, медленно сокращающееся сердце, освещенное бледно-зеленым, согласно с мышцей бьющимся прозрачным пламенем.

Он видел – и никто бы не мог понять этого, никому не смог бы он объяснить этого странного ощущения – совершенно родное тело. Даже затемнение у верхушки правого легкого, след перенесенного в детстве туберкулеза, казалось ему милым и знакомым, как очертание давно известного пятна на обоях возле изголовья кровати, где ежевечерне засыпаешь.

Посмотреть на лицо этой молодой и столь прекрасно устроенной изнутри женщины было как-то неловко, но он все-таки бросил быстрый взгляд поверх белой простыни, покрывающей ее до подбородка. Заметил длинные коричневые брови с пушистой кисточкой в основании и узкие ноздри. И меловую бледность. Но чувство неловкости от разглядывания ее лица было столь сильным, что он опустил глаза вниз, туда, где полагалось быть волнистой укладке перламутрового кишечника. Червеобразный отросток лопнул, гной излился в кишечную полость. Перитонит. Это было то самое, что видела и Валентина Ивановна.

Слабое желтовато-розовое пламя, существующее лишь в его видении, с каким-то редким цветочным запахом, чуть теплое на ощупь, подсвечивало женщину и было, в сущности, частью ее самой.

Еще он видел, как хрупки тазобедренные суставы из-за недостаточной выпуклости головки бедра… Собственно, близко к подвывиху. Да и таз такой узкий, что при родах можно ожидать растяжения или разрыва лонного сочленения. Но матка зрелая, рожавшая. Значит, однажды обошлось… Нагноение уже захватило обе веточки яичников и темную встревоженную матку. Сердце билось слабенько, но в спокойном темпе, а вот матка излучала ужас. Павел Алексеевич давно уже знал, что отдельные органы имеют отдельные чувствования… Но разве можно такое произнести вслух?

Да, рожать тебе больше не придется… – он не догадывался еще, от кого именно не придется рожать этой умирающей на глазах женщине. Он встряхнул головой, отогнав призрачные картинки… Валентина Ивановна, расправив виток кишечника, добралась до червеобразного отростка. Все было полно гноя…

– Все чистить… Все убирать…

Не вытянуть. Проклятая профессия, подумал Павел Алексеевич, прежде чем взять из рук Валентины Ивановны инструменты.

Павел Алексеевич знал, что несколько флаконов американского пенициллина было у Ганичева, начальника госпиталя. Был он вор и торгаш, однако Павлу Алексеевичу обязан… Но даст ли?

3

Первые несколько дней, пока Елена не умирала, но и не вполне была жива, Павел Алексеевич заглядывал к ней в закуток палаты, отгороженный ширмой, и сам делал уколы пенициллина, предназначенного для раненых бойцов и дважды у них украденного. Она не приходила в сознание. Там, где она находилась, были говорящие полулюди-полурастения, и был какой-то сюжет, в котором она участвовала чуть ли не главной героиней. Заботливо разложенная на огромном белом полотне, она и сама чувствовала себя отчасти этим полотном, и легкие руки что-то делали, как будто вышивали на ней, во всяком случае, она чувствовала покалывание мельчайших иголочек, и покалывание это было скорее приятным.

Кроме этих заботливых вышивальщиков, были и другие, враждебные, кажется, немцы и даже, может быть, в форме гестапо, и они хотели не просто ее смерти, а даже большего, худшего, чем смерть. При этом что-то подсказывало Елене, что все это несколько призрачно, полуобман и скоро кто-то придет и откроет ей настоящую правду. И вообще, она догадывалась, что все с ней происходящее имеет отношение к ее жизни и смерти, но за этим стоит нечто гораздо более важное, и связано это с готовящимся открытием окончательной правды, которая важнее самой жизни.

Однажды ей послышался разговор. Мужской низкий голос обращался к кому-то и просил биохимию. Женский, старушечий, отказывал. Биохимия представлялась Елене большой стеклянной коробкой с цветными звенящими трубочками, которые соотносились таинственным образом с тем горным пейзажем, в котором все происходило…

Потом и пейзаж, и цветные трубочки, и нереальные существа разом исчезли, и она почувствовала, что ее постукивают по запястью. Она открыла глаза. Свет был таким грубым и жестким, что она зажмурилась. Человек, лицо которого показалось ей знакомым, улыбнулся ей:

– Ну вот и хорошо, Елена Георгиевна.

Павел Алексеевич поразился: это был тот случай, когда частное оказывалось больше целого – настолько глаза ее были больше остального лица.

– Это вас я там видела? – спросила она Павла Алексеевича.

Голос ее был слабенький, совсем бумажный.

– Очень может быть.

– А Танечка где? – спросила она, но ответа уже не слышала, снова поплыла среди цветных пятен и говорящих растений.

«Танечка, Танечка, Танечка», – запели голоса, и Елена успокоилась: все было в порядке.

Через некоторое время она окончательно вернулась. Все стало на свои места: болезнь, операция, палата. Внимательный доктор, который не дал ей умереть.

Приходила Василиса Гавриловна, с бельмом на глазу, в низко, до самых бровей повязанном темном платке, приносила клюквенное питье и темное печенье. Два раза приводила дочку.

Доктор навещал сначала по два раза на дню, потом, как ко всем, подходил только во время утреннего обхода. Убрали ширмочку. Елена теперь, как другие больные, начала вставать, доходила до умывальника в конце коридора.

Три месяца продержал ее Павел Алексеевич в отделении.

Елена в то время снимала угол за ситцевой занавеской в гнилом деревянном домишке на окраине. Хозяйка, тоже с виду гнилая, была на редкость вздорная. До Елены она уже прогнала четверых съемщиков. Сибирский город, в котором до войны набиралось едва пятьдесят тысяч, ломился от эвакуированных: военный завод, в конструкторском бюро которого работала Елена, медицинский институт с клиниками и два театра. Если не считать бараков для заключенных в близком пригороде, никакого человеческого жилья за годы советской власти в городе не строили. Люди, как кильки в банке, забивали каждую щель, каждую норку.

Накануне выписки доктор приехал в Еленину квартиру на казенной машине, с шофером. Хозяйка испугалась подъехавшей машины и спряталась в чулан. Открыла на стук Василиса Гавриловна. Павел Алексеевич поздоровался –

ударило запахом помоев и нечистот. Не снимая тулупа, он сделал три шага, откинул занавеску и мельком заглянул внутрь их бедняцкого гнезда. Таня сидела в углу большой кровати с большим белым котенком и смотрела на него испуганно, но с интересом.

– Быстренько собирайте вещи, Василиса Гавриловна, на другую квартиру переезжаем, – сказал он неожиданно для самого себя.

Оставлять трудную больную после того, как она чудом выкарабкалась, в такой помойке было невозможно.

Через пятнадцать минут хозяйство было уложено в большой чемодан и узел, Таня одета, и три девицы, включая молодую кошку, сидели на заднем сиденье автомобиля.

Отвез их Павел Алексеевич к себе. Клиника занимала старый особняк, квартира Павла Алексеевича находилась в том же дворе, в пристройке. Когда-то здесь была людская и кухня для дворни. Теперь восстановили большую печь – готовили еду на больных, – помещение перегородили и Павлу Алексеевичу отвели две комнатки с отдельным входом. В одной из комнат он и поселил теперь эту семью. Свою будущую семью.

В первый же вечер, оставшись одна с Танечкой – Елена должна была выписаться только назавтра, – Василиса, помолившись по обыкновению, легла рядом со спящей девочкой на жесткую медицинскую кушетку и первая из всех догадалась, к чему все клонится… Ах, Елена, Елена, при живом-то муже…

В своих подозрениях Василиса Гавриловна утвердилась на следующий же день, когда Елена, перейдя двор, впервые вошла в дом к Павлу Алексеевичу. Она была слаба и прозрачна, улыбалась как-то смутно и растерянно, даже немного виновато. Но ни для подозрений, ни для упреков в тот день не было у Василисы Гавриловны никаких оснований – появились они несколько дней спустя. Удивления достойно, почему эта старая девушка, не имевшая ни малейшего опыта в отношениях с мужским полом, так чутко уловила любовные вибрации при самом их зарождении.

Весь февраль стояли лютые морозы. В квартире Павла Алексеевича сильно топили, впервые за несколько месяцев женщины отогрелись. Возможно, это

сухое дровяное тепло, по которому стосковались женщины, подогревало Еленино чувство, во всяком случае, она испытывала к Павлу Алексеевичу любовь такого градуса, которого прежде не знала. Брак ее с Антоном Ивановичем, с высот нового знания о любви и о самой себе, казался теперь ущербным, ненастоящим. Она отгоняла от себя маленькую, неясную мысль о муже, откладывала со дня на день минуту, когда надо будет самой себе сказать все честные и печальные слова, и все это усугублялось еще и тем, что почти полгода не было от Антона писем, и сама она уже месяц как не писала ему, потому что не могла теперь сказать ему ни слова правды, ни слова лжи…

В половине шестого утра Павел Алексеевич приносил с госпитальной кухни ведро теплой воды – немыслимая роскошь, как в иные времена ванна, полная шампанского, – и ждал за дверью, пока Елена вымоется. Потом мылся сам, приносил второе ведро для Василисы Гавриловны и Танечки, подбрасывал дров в печку, которая топилась у них почти непрестанно. Василиса сидела во второй комнате, пока оба они не уходили на работу: делала вид, что спит. Елена знала, что Василиса ранняя пташка и свое молитвенное бормотание начинает среди ночи.

Не выходит, потому что не хочет стать свидетельницей безобразия, догадывалась Елена. И улыбалась. Поутру она чувствовала себя особенно счастливой и свободной. Она знала, что по дороге к заводу все потихоньку начнет меркнуть, а к концу дня от утреннего счастья не останется и следа – чувство вины и стыда усиливается к вечеру, и пока Павел Алексеевич не обнимет ее ночным крепким объятьем, оно не пройдет…

Павлу Алексеевичу исполнилось сорок три года. Елене было двадцать восемь. Она была первой и единственной женщиной в его жизни, которая не отгоняла его дара. После того, как она впервые провела ночь в его комнате, он, проснувшись в предутренней тьме, со щекотной косой, рассыпанной по его предплечью, сказал себе: «И хватит! Пусть я никогда не увижу ничего сверх того, что видят все другие врачи. Я не хочу ее отпускать…»

Дар его, хоть и был женоненавистником, для Елены, как ни странно, сделал исключение. Во всяком случае, Павел Алексеевич видел, как и прежде, цветовое мерцание, скрытую жизнь внутри тел.

«Вероятно, и ОН ее полюбил», – решил Павел Алексеевич.

* * *

Извещение о смерти Елениного мужа, Антона Ивановича Флотова, пришло через полтора месяца после того, как она впервые осталась ночевать у Павла Алексеевича. Похоронку принесли утром, когда Елена уже ушла на завод. Василиса выплакалась за день – Антона она не любила и теперь себя особенно корила за эту нелюбовь.

Вечером она положила перед Еленой извещение. Та окаменела. Долго держала в руках желтоватую зыбкую бумажку.

– Боже мой! Как жить-то теперь? – Елена указала пальцем на крупную, негнущимися писарскими цифрами написанную дату смерти. – Число видишь какое?

Это был тот самый день, когда она впервые осталась у Павла Алексеевича.

Широкая спина Павла Алексеевича в ладном хирургическом халате с тесемками на мощной шее успела к этому времени совершенно заслонить собой весь мир и погибшего Антона с прохладными глазами, жестким ртом на худом лице, совершенно лишенном мягкого славянского мяса.

С этой минуты любовь ее к Павлу Алексеевичу была навсегда приправлена чувством неисправимой вины перед Антоном, убитым в тот самый день, когда она ему изменила…

Василиса увидела в этой цифре другое – миновал сороковой день.

– Ни мне помолиться, ни тебе повдоветь, – заплакала Василиса.

* * *

Через несколько дней Василиса запросилась в отпуск – одна из ее таинственных отлучек, о которых она скорее уведомляла, чем просила. Елена, много лет проживши с Василисой, прекрасно знала об этой ее особенности – вдруг исчезнуть на неделю, две или три, а потом так же неожиданно вернуться, – на

этот раз отпустить ее не смогла: в конструкторском бюро, где она чертила своей легкой рукой рабочие чертежи для улучшенной коробки передач улучшенного танка, отпусков никому не давали. К тому же законы военного времени не предполагали экскурсий по стране, да и с Таней сидеть было некому…

4

Проницательный во многих отношениях Павел Алексеевич, при всей своей погруженности в профессиональное, врачебное дело, достаточно трезво оценивал и общечеловеческую жизнь, которая вокруг него проистекала. Он, разумеется, пользовался своими привилегиями профессора, директора большой клиники, но от него не укрывалась бедственная жизнь его медперсонала, нехватка еды даже в родильном отделении, холод, недостача дров, медикаментов, перевязочных материалов… Хотя все то же он наблюдал и до войны, но теперь откуда-то возникла идея, что после войны все изменится, станет лучше, правильней…

Возможно, что сама его медицинская профессия, постоянное, почти ставшее бытовым, прикосновение к огненной молнии – острой минуте рождения человеческого существа из кровоточащего рва, из утробной тьмы небытия, – и его деловое участие в этой природной драме отражались на его внешнем и внутреннем облике, на всех его суждениях: он знал не только о хрупкости человека, но и о его сверхъестественной выносливости, далеко выходящей за пределы возможности других живых организмов. Многолетний опыт показывал, что адаптивные возможности человека намного превышают таковые у животных. Интересно, пытались ли исследовать эту проблему совместно медики и зоологи?..

«Совершенно уверен, что ни одна собака такого не выдержит, что выдерживает человек», – усмехался он про себя.

Павел Алексеевич обладал важнейшим качеством ученого – умением задавать правильные вопросы… Он внимательно следил за современными исследованиями в области физиологии и эмбриологии и без устали поражался неутомимому и даже несколько мелочному закону, определяющему жизнь будущего человека еще в утробе матери, в соответствии с которым каждое

улавливаемое событие происходило с великой точностью – не до недель и дней, а до часов и минут. И этот часовой механизм работал столь точно, что ровно на седьмые сутки каждый оплодотворенный зародыш, представляющий собой шаровое скопление единообразных клеток, расщеплялся на два листка, внутренний и внешний, и с ними начинали происходить удивительные вещи – они прогибались, отшнуровывались, выворачивались, образовывали узелки и пузыри, часть поверхности уходила внутрь, и все это повторялось с невиданной точностью, миллионы и миллионы раз подряд… Кем и как даются команды, по которым разыгрывается этот невидимый спектакль?

Высшая безымянная мудрость заключалась в том, что из одной-единственной клетки, образованной из малоподвижной и слегка расплывшейся яйцеклетки, окруженной лучистым венцом фолликулярных клеток, и долгоносого, с веретенообразной головкой и спиральным вертлявым хвостом сперматозоида с неизбежностью вырастает человеческое существо, полуметровое, орущее, трехкилограммовое, совершенно бессмысленное, а из него, повинуясь все тому же закону, развивается гений, подонок, красавица, преступник или святой…

И как раз потому, что он знал очень много, собственно говоря, все, что к тому времени было известно об этом предмете, он представлял себе гораздо лучше остальных, из какого космического варева выныривает каждая Катенька и каждый Валерик.

В отцовской библиотеке было множество книг по истории медицины, и он всегда любил следы этой милой древности: радовался, изумлялся, иногда смеялся над фантастическими суждениями своих давно умерших коллег, будь то древнеегипетский жрец, первый в мире профессиональный анатом, или средневековый умелец, делающий кровопускание, кесарево сечение и удаление мозолей за ту же плату.

Еще в юности запал в него текст письма вавилонского жреца и врача Бероса, в котором тот объяснял своему ученику, что вот уже тридцать лет, как звезда Тишла вошла в созвездие Сиппару, и мальчики с тех пор рождаются более крупными, более агрессивными, и ручки их как будто держат копье…

«Неудивительно, – пишет далее врач, – что последние десять лет идут непрестанные войны – эти мальчики-бойцы выросли и не могут быть пахарями. Надо думать, хранительница Ламассу переписывает таблицы судеб».

Павел Алексеевич справился тогда по немецким справочникам, кто же эта Ламассу, переписывающая судьбы поколений. Оказалось, богиня плаценты. Поразительным было это обожествление отдельных органов и чувство космической связи земли, неба и человеческого тела, совершенно утраченное наукой в новые времена. И в самом деле, было интересно – если отбросить эти трогательные суеверия, – есть ли у поколения какое-то общее лицо, единый характер? Только ли социальные факторы определяют характер поколения? А может, правда, влияние звезд, или питания, или состав воды… Ведь говорил же учитель самого Павла Алексеевича, профессор Калинцев, о «гипотонических» детях начала века… Он описывал их как вялых, слегка сонных младенцев, с мягонькими мешочками под глазами, с полуоткрытыми ртами и ангелически расслабленными ручками… Как же, наверное, они были не похожи на теперешних, с крепко сжатыми кулачками, с подогнутыми пальцами ног, с напряженными мышцами. Гипертонус. И поза боксера – сжатые кулачки защищают голову. Дети страха. Они, пожалуй, более жизнеспособны. Только вот – от чего они защищаются? От кого ждут удара? Что бы сказал об этих детях вавилонский ученый Берос, жрец богини Ламассу?

Размышления об этих испуганных детях уводили Павла Алексеевича в другую область: думая о судьбах близких ему людей, он обнаруживал, что почти все они тоже уязвлены страхом. Большинство скрывали какой-то постыдный факт происхождения или родства, либо, не в силах скрыть, жили в постоянном ожидании наказания за несовершенные преступления. Помощница его Валентина Ивановна происходила из богатейшей купеческой семьи, другой коллега нес в жилах, как чуму, скрытую половину немецкой крови, у регистраторши клиники брат эмигрировал в восемнадцатом году, Елена, только что появившаяся в его жизни, призналась, что родители ее погибли в лагерях, а сама она чудом спаслась от этой участи благодаря бабушке, удочерившей ее накануне переселения родителей на Алтай. Оказалось, что даже Василиса Гавриловна, совсем простая женщина, жила с какой-то своей замысловатой тайной. У каждого было о чем смолчать, каждый ожидал разоблачения.

С началом войны этот неопределенный, почти мистический страх немного отпустил, сменившись другим, более реальным страхом за жизнь ушедших на фронт мужчин. Их убивали настоящие и вековечные враги, немцы, и эти воюющие и погибающие на фронте мужчины защищали не только свою родину, но в какой-то степени они защищали свои семьи от прежних, довоенных страхов: бдительные органы как будто немного подзабыли о богатых бабушках, слишком образованных дедушках и родственниках за границей. Пришедшие в дом похоронки делали всех равными в горе. Сиротство, голод и холод уравнивали в

правах детей погибших солдат и погибших арестантов. Теперь будущее у всех людей было связано с победой, и дальше нее не простирались их мечты. Почти безмолвная, в шепоте и потрескивании прогорающих поленьев начавшаяся между Павлом Алексеевичем и Еленой любовь захватила их настолько полно, что оба они откладывали неизбежные размышления о будущем: им еще не было страшновато.

## 5

Павел Алексеевич удочерил Таню сразу же после женитьбы и, как говорила Василиса, «принял ее на сердце». В этой «своей» девочке как будто сошлись все те тысячи новорожденных, которым помог он при появлении на свет: вытащил, вырезал, спас от асфиксии, черепной травмы и других повреждений, которые нередко случаются при родах.

Но чужие дети были минутными. На них тратились великие силы и труды, а потом они исчезали, и Павел Алексеевич почти никогда не видел этих мальчиков и девочек в ту пору, когда они начинали улыбаться, изучать свои пальчики, радоваться узнаванию родных лиц, сосок, погремушек.

Уже в первые часы жизни нового существа Павел Алексеевич умел замечать проявление темперамента – сильную волю или пассивность, упрямство или лень. Но более тонкие черты человеческой личности не проявляются обычно в первые дни, когда дитя отдыхает после титанической работы рождения и перехода в новое существование. Он многое знал о чужих младенцах, но ничего – о ребенке в своем доме. Открытие оказалось изумительным.

Тане едва исполнилось два года, и по возрасту Павел Алексеевич мог быть ей дедом. Сердечное восхищение ей, которое он испытывал, имело налет стариковского умиления всем тем новым, что происходит с ребенком и никогда не происходит со взрослыми. То он замечал складочку на запястье, то ямку на пояснице, то обнаруживал, что ее темные волосы не одного ровного темно-коричневого цвета, а с исподу, на шее, за ушками, они светлее и мягче, как будто другого сорта.

Новые слова, новые движения, весь умственный рост, происходящий в двухлетнем человеке, вызывали теперь у Павла Алексеевича острый любовный интерес. Он никогда не позволял своей мысли останавливаться на том, что другая женщина могла бы родить ему другого, его собственного ребенка, может быть, мальчика, который бы унаследовал не эти чужие, карие волосы, а его, Павла Алексеевича, светловолосость и личную склонность к облысению, странную форму руки с широченными ладонями и треугольными пальцами, резко заостренными к ногтю, и перенял бы, в конце концов, его профессию.

Нет, нет, даже если бы Елена и могла еще рожать, он совсем не уверен, что хотел бы подвергнуть свою любовь к Танечке испытанию или сравнению. Он и Елене об этом говорил: другого ребенка я и вообразить себе не могу, девочка наша настоящее чудо.

Трудно сказать, что из чего проистекает – хороший характер ребенка из любви, которую безмерно и нерасчетливо изливают на него родители, или, напротив, хороший ребенок вызывает в душах родителей все лучшее, что в них заложено. Так или иначе, Таня росла в любви, и они были особенно счастливы втроем. Василиса, хоть и была членом семьи, но в геометрии семейного треугольника была членом вспомогательным, лишь придающим их существованию дополнительную устойчивость.

Иногда, когда Таня просыпалась раньше взрослых, она пробиралась в комнату к родителям, ситцевой рыбкой ныряла между ними и сонным счастливым голосом требовала «обонять и поцелуть». Заговорила она очень рано, сразу правильно, и это «поцелуть» было для нее игрой взрослого человека, способного посмеяться над собой, маленьким.

– Сюда, сюда и сюда, – указывала она пальцем на лоб, щеку и подбородок и, получив, как законную дань, родительские поцелуи, с забавной серьезностью выбирала место на колкой щеке Павла Алексеевича, куда бы чмокнуть.

Этот целовальный обряд в Танины школьные годы преобразился в прощальный поцелуй перед уходом. Мимолетные касания, казалось бы, совершенно незначительные, были как мелкие гвозди, прочно сшивающие ежедневную жизнь.

Павел Алексеевич, вообще очень сдержанный в отношениях, даже с любимой женой, строго соблюдающий свой предел допустимого и в жестах, и в словах, с Таней доходил до старческого сюсюканья. «Сладкая вишенка», «папин воробышек», «черноглазый бельчонок», «ушастое яблочко» – пошлейший гербарий и зоосад обрушивал он на ребенка. Танечке это очень нравилось, и у нее тоже был свой набор ласковых прозвищ для отца: «мой лучший собак», «Бегемот Бегемотыч», «Сомик усатый».

Баловал Павел Алексеевич Таню со страстью. Елене приходилось то и дело охлаждать его пыл. Случалось, он заходил в игрушечный магазин и скупал весь его скудный прилавок. Но Тане это безумное баловство как будто не шло во вред, не было в ней жадности и властных ухваток ребенка, не знающего никаких границ.

Павлу Алексеевичу казалось, что любая ткань слишком груба для детской кожи, что ботинки натирают ножку, шарф – шейку. Он переводил взгляд на жену и поражался до сердечной боли, как она хрупка и нежна, и обеих он хотел бы укутать в батист, в пух, в мех… Странная это была несуразица между аскетическими повадками Павла Алексеевича, всем строем его суровой и жестокой жизни хирурга, Елениной механической привычкой брать меньшее и худшее так легко и естественно, что никто этого и не замечал, с Василисиной скупостью и строгостью к девочке – и острым желанием Павла Алексеевича посадить дочку и жену под стеклянный колпак, чтобы защитить от сквозняков, грубости, всех шероховатостей мимотекущей жизни.

К сентябрю сорок четвертого года клиника Павла Алексеевича вернулась в Москву. В квартиру Елены в Трехпрудном переулке, на которую она рассчитывала, к этому времени вселили двух мелких энкавэдэшников, и молодая семья опять оказалась в служебном помещении, где до войны жил одинокой неприхотливой жизнью Павел Алексеевич. Это был полуподвал, довольно просторный, но сырой и мало подходящий для ребенка. Таня, как будто специально для того, чтобы беспокойство о ее здоровье не было напрасным, часто простужалась и подолгу кашляла.

Семейная жизнь Павла Алексеевича и Елены Георгиевны складывалась столь счастливо, что даже Танино нездоровье сообщало особую ноту близости между супругами. Долгое время первым словом при возвращении Павла Алексеевича с работы было тревожное «Кашляла?».

Василиса пожимала костлявым плечом: экое дело, дите кашляет…

«Ну и бесчувственная старуха», – удивлялся про себя Павел Алексеевич, стаскивая огромное пальто, набравшее в себя уличного холоду, и отгоняя от этого холодного воздуха Таню, высунувшуюся в коридор…

## 6

Павел Алексеевич, как и его покойный отец, имел, несомненно, качества государственного человека. Хотя на карьеру Павла Алексеевича длинную тень бросал офицерский чин отца в царские времена, вторая война как бы исправила это неприятное место в биографии: отец был хоть и военным, но врачом, да и погиб на германской. Теперь, когда страна опять воевала с сыновьями тех же самых немцев, ему было задним числом прощено сомнительное происхождение. Вскоре после возвращения из эвакуации Павел Алексеевич был вызван в министерство, где ему было предложено составить проект устройства мирного здравоохранения в той его части, которая касалась материнства и детства. Война была на исходе, и хотя комиссия эта не была еще создана, но предполагалось, что со временем он ее возглавит. В руки к Павлу Алексеевичу пошла статистика – безграмотно собранная, частично фальшивая и неполная, но до некоторой степени открывающая ужасную демографическую ситуацию. Дело было не только в невосполнимой потере огромной части мужского населения и связанным с этим падением рождаемости. Детская смертность была огромной, особенно младенческая. Было еще одно обстоятельство, не учитываемое официальной статистикой, но прекрасно известное любому практикующему врачу: большое количество женщин репродуктивного возраста погибало от криминальных абортов. Официально медицинские аборты были запрещены еще в тридцать шестом году, почти одновременно с принятием Сталинской Конституции.

Это запрещение было болезненной точкой в работе Павла Алексеевича: почти половина экстренных операций была связана с последствием подпольных абортов. Противозачаточных средств практически не существовало. Врач обязан был освидетельствовать каждую привезенную по «Скорой помощи» женщину «на предмет установления факта подпольного аборта» – это влекло за собой судебные преследования. Павел Алексеевич избегал таких завуалированных

доносов и писал в анамнез разоблачительные слова «криминальный аборт» в единственном случае – когда пациентка умирала. Если жизнь женщины была спасена, такое медицинское заключение привело бы на скамью подсудимых и пострадавшую, и лицо, исполнявшее эту древнейшую процедуру. Несколько сотен тысяч женщин сидели в лагерях именно по этой статье.

Обширная программа, которую предстояло разработать Павлу Алексеевичу, кроме чисто медицинских аспектов включала и социальные.

Проект его более всего напоминал одну из тех бумаг, которые подавали на Высочайшее Имя лучшие сыны отечества, среди которых были и романтики, и недоумки, целый спектр интереснейших персонажей, от князя Курбского до Чаадаева. Да и родной отец его, Алексей Гаврилович Кукоцкий, был одним из таких прожектеров.

Павел Алексеевич предвидел после войны серьезные потрясения самого института семьи, ожидал появления большого количества матерей-одиночек и рассматривал это явление как социально-неизбежное и даже общественно-полезное. Он считал необходимым введение разнообразных льгот для матерей-одиночек, но при этом полагал, что первым шагом должна быть отмена постановления от июля 1936 года о запрещении абортов.

По мере работы проект все более разрастался и превращался в настоящую утопию, сквозь фантастические построения которой просвечивали и серьезные, очень дельные мысли, намного опередившие свое время. Так, он предусматривал организацию патронажной службы для родителей, просветительскую работу среди молодежи и создание сети детских домов-санаториев, в которых выращивание здоровых в физическом и психическом отношении детей было бы поставлено на научную основу. Это отчасти перекликалось с педологией, запрещенной еще в тридцатые годы, и даже слегка отдавало Чернышевским. Не забыта была и медико-генетическая консультация, организацию которой он планировал поручить другу юности, врачу-генетику Илье Гольдбергу.

Министром здравоохранения в то время сидела немолодая женщина, опытная чиновница, партийная от пегой маковки до застарелых мозолей, к тому же – единственная женщина в правительстве. За ней с давних лет держалось прозвище Коняги, отчасти связанное со звучанием ее фамилии, а отчасти и с ее неутомимостью и редкой способностью идти, не сворачивая, в указанном

направлении. Прозвище ей даже нравилось, и нередко, позволив себе в узком кругу изрядно выпить, она любила приговаривать:

– Да, да, русская женщина – конь с яйцами, ей все по силам!

Несомненно, она и была главной женщиной страны, символом женского равноправия и воплощенным Восьмым марта, если не считать мифологических Розы Люксембург, Клары Цеткин, Зои Космодемьянской и вечно юной Любови Орловой. Что характерно, все они, включая и саму Конягу, были бездетными…

На первых порах, когда проект перестройки здравоохранения только затевался, Коняга была его большой сторонницей, но по мере того, как работа Павла Алексеевича приобретала все больший размах, она как будто охладела. На самом же деле, она испугалась. Проект выглядел слишком радикальным, требовал огромного финансирования, а главное, риска. Во многих отношениях слепоглухонемая, Коняга обладала нечеловеческой чуткостью к настроениям начальства, которые она понимала как государственный интерес. Она своим нюхом чуяла, что государственный интерес в текущем моменте лежал никак не в области акушерства и гинекологии и даже не материнства и детства, а в иных, более высоких сферах.

Академик Опарин, например, уже объяснил, каким образом живая материя произошла от неживой посредством электрического разряда, вышибаемого с помощью учения Маркса—Энгельса в сторону первичного бульона из идеологически верных молекул белка. Другой академик, Лысенко, почти подчинил природу своему щучьему велению, и она уже твердо обещала ему адекватно реагировать на все манипуляции кнута и пряника. Третий академик, всемирно известная женщина Лепешинская, без пяти минут как победила старость и без десяти – самое смерть. Атом уже согласился стать мирным, реки были готовы течь куда следует, а не куда им заблагорассудится. Советская наука, и медицинская в частности, и без отмены злосчастного указа процветала, а великий вождь всех времен и народов, сунув левую парализованную за пазуху, деятельной правой принимал бессмертный букет из рук белокурой девочки, впоследствии и под следствием оказавшейся еврейкой, и мудро улыбался…

А лысый гинеколог ходил каждую неделю в министерство и надоедал министру своим дежурным вопросом: подала ли она проект наверх? Нет, нет и нет! В настоящее время она никак не могла выйти наверх. А вдруг не так поймут? К тому же обычно идеи работали в обратном направлении – не поднимались снизу

вверх, а спускались сверху вниз. О перестройке здравоохранения пока забыли, и не ей было об этом напоминать. Коняга тормозила, как могла, ни одно постановление не проходило без обсуждения в ЦК партии, и ее чуткое сердце предпочитало повременить. Павел Алексеевич настаивал. Потратив больше года на бесплодные переговоры с министром, он совершил, в конце концов, поступок, по понятиям чиновничьим и военным, неэтичный: написал официальное письмо в ЦК партии, на имя члена Политбюро Н., ведающего социальными вопросами. Поверх головы министра здравоохранения… Письмо в соответствии с общепринятыми стандартами содержало заклинательное зачало «Под руководством…», но написано было безукоризненным старомодным языком, с четкой аргументацией и убийственной в прямом и переносном смысле статистикой.

* * *

На этот раз Павел Алексеевич локализовал задачу – он подавал не весь проект, а лишь его фрагмент, касающийся наиболее болезненной, с его точки зрения, проблемы – о разрешении абортов.

Прошло несколько месяцев, и Павел Алексеевич уже перестал ждать какого бы то ни было ответа, как в девять часов утра, во время пятиминутки, раздался звонок со Старой площади. Павел Алексеевич извинился и с недовольным лицом вышел из ординаторской. Кто-то нарушил правило: обычно с пятиминуток его к телефону не подзывали. Но это было приглашение в ЦК на аудиенцию, и притом немедленное.

Через десять минут служебная машина уже отъезжала от клиники. Рядом с водителем сидел мрачный Павел Алексеевич. Вызов этот был неожиданным, стилистика – самая зловещая. Особенно не понравилась ему срочность. Он успел до отъезда сделать лишь две вещи первой необходимости: выпил стакан разведенного спирта и взял в руки давно заготовленный на этот случай портфель. Уже по дороге к Старой площади он подумал, что напрасно не заехал домой попрощаться с семьей…

В проходной шестого подъезда его остановили и попросили оставить портфель. В портфеле стояла плоская анатомическая банка с запаянной сургучом крышкой. Этой банке была отведена решающая роль в предстоящем разговоре. После долгих объяснений и препирательств портфелю разрешено было последовать на

прием вместе с владельцем. Павла Алексеевича долго вели по ковровым коридорам. Это малоприятное путешествие отдавало каким-то ночным кошмаром. Павел Алексеевич еще раз посожалел, что не заехал домой. Два явственных вертухая, один справа, другой слева, остановились перед дверью:

– Вам сюда.

Он вошел. Секретарша ренуаровского колорита, сияя жемчужно-розовым лицом, просила подождать. Он сел на строгий деревянный диван, разведя широко колени и поставив между ними старый отцовский портфель, ходивший в свое время на доклады к министрам давно похороненного правительства… Павел Алексеевич приготовился долго ждать, но его вызвали через две минуты. К этому времени алкоголь добрался до всех завитков нервной системы и разлил свое безмятежное тепло и покой. В длиннющем неуклюжем кабинете, за огромным письменным столом сидел маленький человек с отечным лицом, вылепленным из сухого мыла – одно из тех лиц, что колыхались на первомайских портретах под весенним ветерком.

«Почки ни к черту не годятся, особенно левая», – автоматически отметил Павел Алексеевич.

– Мы ознакомились с вашим письмом, – монархически произнес партийный начальник.

И звук голоса, и едва заметная брезгливость в лице давали понять, что дело проиграно.

«Тем более нечего терять», – подумал Павел Алексеевич и медленно расстегнул пряжки портфеля. Начальник замолк, сделав ледяную паузу. Павел Алексеевич вытащил слегка запотевшую прямоугольную банку, провел ладонью по переднему стеклу и поставил на стол. Начальник испуганно откинулся в кресле и, указав пухлым пальцем на препарат, спросил неприязненно:

– Что это вы сюда притащили?

Это была иссеченная матка, самая мощная и сложно устроенная мышца женского организма. Разрезанная вдоль и раскрытая, цветом она напоминала сваренную буро-желтую кормовую свеклу, еще не успела обесцветиться в

крепком формалине. Внутри матки находилась проросшая луковица. Чудовищная битва между плодом, опутанным плотными бесцветными нитями, и полупрозрачным хищным мешочком, напоминавшим скорее тело морского животного, чем обычную луковку, годную в суп или в винегрет, уже закончилась.

– Прошу обратить внимание. Это беременная матка с проросшим луком. Луковица вводится в шейку матки, прорастает. Корневая система пронизывает плод, после чего извлекается вместе с плодом. В удачном случае, разумеется. Неудачные попадают ко мне на стол или прямо на Ваганьково… Вторых больше…

– Вы шутите… – отшатнулся партийный деятель.

– Я мог бы привести вам таких луковиц килограмм, – вежливо ответил Павел Алексеевич побледневшему деятелю. – Официальная статистика, и я не могу этого скрывать, совершенно не соответствует истине.

Начальник напрягся:

– Что вам дает право… Как вы смеете…

– Смею, смею. Если после криминального аборта мне удается женщину вытянуть, я должен писать ей в карточку «самопроизвольный выкидыш». Потому что если я этого не сделаю, я посажу ее в тюрьму. Или ее соседку, у которой тоже малые дети, а половина детей у нас и так безотцовщина. Луковка эта, поверьте, самый хитроумный, но не единственный метод прерывания беременности. Металлические спицы, катетеры, ножницы, внутриматочные вливания черт-те чего… йода, соды, мыльной воды…

– Перестаньте, Павел Алексеевич, – взмолился побелевший чиновник, вспомнив, что до войны и его жена прибегала к чему-то такому. – Хватит. Чего вы от меня хотите?

– Нужен указ о разрешении абортов.

– Вы с ума сошли! Вы что, не понимаете, что есть интересы государства, интересы нации. Мы потеряли на войне миллионы мужчин. Есть проблема

восполнения народонаселения. Это детский лепет, то, что вы говорите, – искренне заволновался чиновник.

«Не зря банку тащил», – подумал Павел Алексеевич.

Разговор, кажется, качнулся в его пользу. Он правильно его начал, и надо было правильно его закончить.

– Мы потеряли миллионы мужчин, а теперь теряем тысячи женщин. Честный медицинский аборт не влечет риска для жизни, – Павел Алексеевич сморщился. – Видите ли, рост благосостояния сам по себе будет обуславливать повышение рождаемости… – Павел Алексеевич встретился с ним глазами. – Сколько сирот оставляют. Детские дома тоже, между прочим, из государственного бюджета кормятся… Надо разрешать. На нашей совести будет…

Начальник скривил губы, глубокие складки опустились к подбородку:

– Уберите это… Там надо говорить, – он указал рукой в небо.

– Так я вам оставлю препарат. Может, пригодится?

Хозяин кабинета замахал руками:

– Вы с ума сошли! Уберите немедленно…

– По неполной, по далеко не полной статистике двадцать тысяч в год. Только по России… – набычился Павел Алексеевич. – Вы за них отвечаете.

– Вы много на себя берете, – рявкнул партийный чиновник и совершенно перестал походить на свой первомайский портрет.

– Потому что вы ничего не хотите взять на себя, – отрезал Павел Алексеевич.

На том и расстались. Препарат остался стоять на вельможном столе рядом с чернильным прибором, украшенным чугунной башкой пролетарского писателя…

* * *

Эти первые послевоенные годы были для Павла Алексеевича очень удачными – кафедра, замороженная во время войны, снова получила право на полноценное существование. Вернулись двое лучших учеников Павла Алексеевича, которые в начале войны прошли переквалификацию и на несколько лет оторвались от акушерства и гинекологии. Вдвое увеличили количество мест в клинике. Новых ставок на научную работу пока не давали, но Павлу Алексеевичу даже в самые тяжелые времена удавалось вести научные наблюдения и копить кое-какие соображения, которые ждали своего часа. Так он размышлял о лечении одного из видов женского бесплодия, глубоко вник в женскую онкологию и нащупал интересные связи между беременностью и злокачественными процессами, возникающими в организме женщины в этот период. Мыслями он бродил около лечения раковых заболеваний с помощью ингибиторов роста гормонального происхождения. Дар внутривидения не давал ответов на вопросы, но помогал ясно видеть некоторые общие картины жизни организма. Картина жизни общества, государства, напротив, представлялась Павлу Алексеевичу совершенно неясной. Ему, как и многим в первые послевоенные годы, казалось, что прежние, довоенные заблуждения сами собой развеются и жизнь организуется разумно. Разрабатываемый им проект обеспечит скорейшее наступление светлого будущего в той, по крайней мере, части, где он был компетентен.

Однако дело, несмотря на удачный, как ему казалось, визит к высокому начальству, не двигалось, комиссия все не работала, и он упорно и методично обивал порог все более настороженной Коняги и доказывал, что настало время обновить существующее здравоохранение. Она его благосклонно выслушивала – слух о его походе напрямки дошел до нее, а поскольку никаких непосредственных приказов ей не давали, она была с Павлом Алексеевичем предельно осторожна. Даже сочла за благо его обласкать. Именно по ее инициативе в конце сорок седьмого года Павлу Алексеевичу дали звание члена-корреспондента Академии медицинских наук и в те же дни – новую квартиру в только что отстроенном доме для медицинской знати. Это был как будто аванс под будущие государственные свершения. Аванс был прекрасным – трехкомнатная квартира и семиметровый чулан при кухне. Больше всех радовалась Василиса. Впервые в жизни у нее была отдельная комната. Увидев чулан, она заплакала:

– Вот она, моя келейка, дай бог и помереть здесь.

Как ни уговаривала ее Елена поселиться в большой комнате, вместе с Танечкой, Василиса не согласилась.

По понятиям тогдашнего времени они были богаты сверх всякой меры. Равной богатству была лишь щедрость Павла Алексеевича, благодаря которой в доме никогда не заводилось свободных денег. Дважды в месяц, в день зарплаты, после позднего обеда Павел Алексеевич провозглашал:

– Леночка, список!

И Елена приносила ему список тех, кому отправлялось денежное пособие. Еще с довоенного времени Павел Алексеевич оказывал помощь своей двоюродной племяннице, неродной тетке, старой хирургической сестре, с которой когда-то начинал работать, и другу студенческих лет Илье Гольдбергу, который с тридцать второго года пребывал то в лагерях, то в ссылках, то в каких-то провинциальных дырах.

До женитьбы Павла Алексеевича, собственно, никакого списка не было, вспоминал и посылал, а теперь, когда его молодая жена завела этот список, прибавив, помимо мужниных имен, своих дальних родственников, школьную подругу, застрявшую в Ташкенте, и каких-то Василисиных старух, Павел Алексеевич стал даже с некоторым уважением относиться к своей большой зарплате. Поскольку круг лиц был довольно обширным и от месяца к месяцу видоизменялся, Павел Алексеевич, заглядывая в список, иногда спрашивал:

– Муся – это кто? – И, выслушав разъяснение, кивал головой.

Затем Елена объявляла общий итог, и тогда Василиса скоренько шла к нему в кабинет и выносила торжественно старый кожаный портфель, принадлежавший еще Алексею Гавриловичу, о чем и сообщала серебряная пластинка в уголке. Павел Алексеевич раскрывал портфель, отсчитывал дензнаки. Наутро Василиса, заворачивала отдельно каждую порцию в газетку, а все газетные свертки почему-то в старое полотенце, потом, вцепившись одной рукой в свою кошелку, а другой в Еленин рукав, она шла на почту, и здесь, у окошка, передавала наконец Елене деньги, и та отправляла переводы.

Василиса шевелила губами. Елена думала, что она считает деньги. Василиса же читала свои любимые молитвы. Собственных слов у нее было немного, и со своим

богом она привыкла разговаривать отрывками из псалмов и молитвенными формулами. Но когда очень уж хотелось добавить что-нибудь от себя, то она взывала к Пречистой Деве: голубушка, дорогая, сделай так-то и так-то, чтобы по-хорошему…

Мир Василисы был прост: на небе господь бог, Пресвятая богородица со ангелы, со всеми святыми, и с матушкой игуменьей посреди, потом Павел Алексеевич, а потом уж они, семья, и все остальные люди, злые по одну сторону, добрые – по другую. Павел Алексеевич был в ее глазах почти святым: он у себя в больнице всем подавал помощь – и злым, и добрым, как господь бог. Даже последним преступницам, погубительницам жизни… О том, что главной заботой Павла Алексеевича было законное разрешение на эту пагубу, ей и в голову пока не приходило.

## 7

На шестом году жизни Танечка сильно вытянулась, ушла детская припухлость, личико обострилось, и влажные голубые тени пролегли под глазами. И кашель то прекращался, то снова нападал. Вызвали Исаака Вениаминовича Кецлера, друга и однокашника покойного отца Павла Алексеевича. Ему было за восемьдесят, с девятьсот четвертого года он работал в детской больнице на Русаковке и, уйдя на пенсию, продолжал ежедневно ездить в свое отделение, где и кабинет за ним оставили.

Исаак Вениаминович славился божественными ушами. Даже с виду они были необыкновенными: разросшиеся от старости, дряблые и сухие, как у слона. Из самой середины уха бил фонтан седых волос, а большие удлиненные мочки морщились продольными складками. При всем при том Исаак Вениаминович был глуховат до той минуты, пока не вдевал в ухо короткую черную трубку и не приставлял ее расширенным концом к детской спине. А уж особенно его слух обострялся, когда он прижимался стариковским ухом к передергивающемуся от щекотки телу малолетнего пациента.

– Здесь мы имеем первичный процесс, – произнес Исаак Вениаминович, ткнув Таню пальцем пониже ключицы. – Верхушечка справа. Пойдите в Институт педиатрии, доктор Хотимский сделает вам снимочек… На Солянку, на Солянку…

Павел Алексеевич кивнул – он прекрасно знал это старое здание возле Устьинского моста, построенное еще в начале девятнадцатого века, Воспитательный дом для подкидышей, рожденных запутавшимися деревенскими девками, горничными и швеями московского Вавилона, не сумевшими вовремя избавиться от прижитых младенцев…

Павел Алексеевич глядел на раздетую до пояса дочку своим специальным взглядом, сфокусированным на несколько сантиметров глубже поверхности ее молочной кожи, но ничего, кроме своего собственного суетливого беспокойства, не ощущал.

– К сожалению, это теперь массовое явление, – шамкал Исаак Вениаминович, гуляя пальцами около Таниного уха, вниз по шее, останавливаясь под подбородком и влезая в самую глубину подмышек. – Лимфатик, лимфатик. Возможно, щитовидочка чуть увеличена. А как аппетит? Конечно, плохой. Откуда быть хорошему? А рвоты? Рвоты случаются? Heraus?

– Очень часто, – кивнула Елена. – Одна лишняя ложка, и рвота. Мы никогда и не уговариваем.

– Ну вот, – с удовлетворением отозвался старик. – Спастика. – Он приложился ухом к животу. – На боли в желудке жалуемся? Вот тут? – Он ткнул пальцем в какую-то точку. – Остренько так тянет, да?

– Да, да, – обрадовалась Танечка. – Остренько тянет.

«Ах вот оно в чем дело, – обрадовался Павел Алексеевич. – Уши-то у старика ясновидящие. Не глаза, не пальцы…»

Сам он, как ни напрягался, ничего на этот раз не видел. Не разворачивалась перед ним привычная картина – вид человека изнутри, таинственный пейзаж органов, повороты рек, туманные пещеры, полости, лабиринты кишечника…

Не выключая собственного обескураженного взгляда, он посмотрел на Исаака Вениаминовича – багровый свет раковой опухоли охватывал желудок. Очаг был в привратниковой части, а по средостению полз росток метастаза. Павел Алексеевич закрыл глаза…

Снимок Тане сделали. Кое-что нашли. Анализ крови все подтвердил. Рекомендации старого педиатра оказались изумительно старомодными. Ребенку была предписана Швейцария, в разумных, естественно, пределах. То есть Швейцария Подмосковная. Многочасовые гуляния, сон на свежем воздухе – к ужасу Василисы, которая, как простой человек, выросший в деревне, в свежий воздух не верила. А также, разумеется, питание, рыбий жир. Словом, «Волшебная гора» Томаса Манна, о которой Исаак Венаминович и слыхом не слыхивал. И никаких медикаментов типа новомодного ПАСКа – зачем надрывать печень, нагружать почки?

Павел Алексеевич кивал, кивал, а потом резко спросил, не хочет ли старый педиатр исследовать собственный желудок?

– Коллега, в моем возрасте все процессы замедлены, у меня есть хорошие шансы умереть от воспаления легких или от разрыва сердца…

«Все знает. Прав», – согласился в душе Павел Алексеевич.

* * *

Сняли под Звенигородом большую зимнюю дачу, принадлежащую карьерному адмиралу, отправленному за мелкий грех крупного воровства в почетную ссылку в Канаду, на должность военного атташе в посольство. Той же осенью в Академии распределяли дачи, и Павлу Алексеевичу предложили подать заявление. Он почему-то отказался. И сам не смог бы объяснить толком, но было инстинктивное ощущение: больно много дают, не сдерут ли потом три шкуры? Даже Елене не сказал об этом дачном предложении.

На снятой даче поселили Таню с Василисой. Как ни уговаривал Павел Алексеевич Елену бросить наконец свою никчемную работу и сидеть на даче, она отказалась наотрез: не хотела ни работу бросать, ни Павла Алексеевича одного в городе оставлять на всю неделю.

Дача была огромная, двухэтажная, с псевдоготическими буфетами и поставцами, заполненными фарфором и всякой никчемной мелочью. В двух залах, верхней и нижней, среди стада окаменевших кресел и стульев с резными спинками, стояло по роялю. Наверху – черный концертный, внизу – кабинетный с

треснувшей декой, из палисандрового дерева с бронзовыми накладками. Настройки он не держал, но это выяснилось уже после того, как Павел Алексеевич со сторожем внесли его в одну из двух обжитых комнат – для Тани. Пригласили учительницу из Звенигорода, и она три раза в неделю приезжала на дом.

Уже через несколько недель, воскресными вечерами, жарко натопив дом, Павел Алексеевич и Елена садились в резные германские кресла, от которых пахло воровством, как и от всей прочей обстановки этого дома, и Таня играла им робкие пьески, выученные на этой неделе…

Так прошло два года. Зимы запомнились Тане гораздо лучше, чем лета. Может, потому, что зима в России в два раза длиннее лета. Свое детство Таня вспоминала впоследствии как время белизны, а не болезни. Утренняя чашка сладкого козьего молока в белой фарфоровой кружке, заоконные сугробы, толстые и волнистые понизу, и маленькие, округлые, празднично разложенные подушки на спинах еловых веток поверху, и белый костяной блеск клавиш, к которым Таня переходила после завтрака, пока Василиса мыла посуду. Потом Василиса давала ей деревянную лопатку и велела чистить дорожки. И Таня возила лопатой снег, пока Василиса не предлагала ей нового задания – покормить птиц.

Участок был огромный, Павел Алексеевич устроил четыре кормушки, и Таня часами наблюдала, как кормились на деревянном столике, под косым навесом красногрудые снегири и желтощекие синицы. Иногда они с Василисой брали по бидону – большой и маленький – и шли на дальний родник, метрах в пятистах, за вкусной водой. Ближний родник пробивался на самом краю огромного дачного участка, но, бывало, в снегопады его заваливало, и вода не протискивалась на поверхность. Каждый день ходили в деревню за козьим молоком, навещали знакомую старушку, ее козу и собаку с черными щенятами, жившими в сенцах.

Таня была постоянно занята. Разницы между делом и развлечением она не знала. Ничего насильного в ее жизни не было. Даже рыбий жир, которого она прежде не выносила, стал ей нравиться после того, как Василиса угостила хлебом, сбрызнутым рыбьим жиром, черных щенят и они набросились на него, как на невиданное лакомство.

В счастливой дачной жизни она пропустила первый школьный год. Программу первого класса Таня прошла дома. Она хорошо читала и освоила счет. Труднее

было с чистописанием. Таня расстраивалась, что у нее не получается так красиво, как в прописях. Здоровье ее совершенно поправилось. Исаака Вениаминовича, который мог бы это засвидетельствовать, уже не было в живых.

* * *

С осени Таню перевезли в московскую квартиру, и она пошла в школу, сразу во второй класс. Собирали ее со старанием и большой тщательностью. Сшили коричневую форму с воротом-стоечкой, белыми пришивными воротничками и манжетами, черные нарукавники, два черных фартука и белый парадный, с плиссированными оборками на плечах.

– Как у ангела, – набожно вздохнула Василиса.

И стала уважать Таню своей детской душой – сама она в школу никогда не ходила, и форма эта, не перешитая из старого, а выкроенная из цельного нового куска шерстяной материи, казалась знаком особого отличия. Про себя она еще подумала: «Красота какая, хоть в гроб ложи…» Ничего дурного она в виду не имела…

Еще закупили стопку голубоватых свежих тетрадок с розовыми рыхлыми промокашками, пахучий деревянный пенал с драгоценным содержанием – новые карандаши, ластики, перья… Даже ботинки для Тани сшили на заказ в закрытом ателье, которым никто в семье не пользовался.

О школе Таня долго мечтала – ей обещано было, что там она найдет себе подруг, которых не хватало в туберкулезно-счастливом звенигородском детстве.

Первого сентября Елена привела дочь в школу. Нашла учительницу и оставила Таню в классе с тяжелым портфелем и толстоногим букетом упитанных астр, одинокую и растерянную. Девочек, с которыми Таня собиралась дружить, оказалось слишком уж много. Они были шумными, и с этим еще можно было смириться. Самым неприятным было то, что они все трогали Таню руками, кто за косу, кто за оборку фартука. Одна даже ухитрилась схватить ее за белый носок…

Класс оказался точно таким, как Таня его себе представляла. Учительница указала ей место рядом с толстой девочкой с бубликами косичек над ушами. В середине урока соседка толкнула ее под локоть, и Таня поставила большую кляксу на первой странице тетради. Таня обмерла. С ней случалось такое и прежде, когда она заполняла свои одинокие тетради в Звенигороде, но теперь она ужаснулась. Она еще не успела прийти в себя от потрясения, как соседка, нагнувшись под парту, больно ущипнула ее за ногу. Тогда Таня поняла, что и под локоть та толкнула ее нарочно, и заплакала. Учительница подошла к ней и спросила, в чем дело.

– Можно я пойду домой? – прошептала Таня.

– После четвертого урока ты пойдешь домой, – твердо сказала учительница.

В первый раз в жизни Таня столкнулась с чужой волей, с насилием в его самой легкой форме. До этого момента желания окружающих и ее собственные счастливо совпадали, и ей в голову не приходило, что может быть иначе… Оказывается, это и была взрослая жизнь – подчинение чужой воле… С этого момента оказалось: чтобы по-прежнему быть счастливой, надо быть уверенной, что ты сама желаешь именно того, чего от тебя требуют взрослые… Она, разумеется, этого не думала, скорее, эта идея накрыла ее сверху и начала подминать под себя…

До конца четвертого урока она просидела на парте в столбняке, не выходя даже на перемены. Девочки, от которых она ждала дружбы, оказались злыми обезьянами: они скакали вокруг нее, дергали за косы, тыкали пальцами и обидно смеялись. Таня силилась понять, за что они ее невзлюбили, и не догадывалась, что они таким способом лишь выражают свой интерес к ней. Она и представить себе не могла, что через несколько месяцев эти же самые девочки будут отчаянно ссориться между собой и даже драться за право стоять с ней в паре, дежурить по классу и просто идти по коридору.

Таня, как выяснилось, обладала редким и трудно определимым качеством: все, что она ни делала – завязывала бант, обертывала тетрадь, стряхивала с рук капли воды после мытья своим собственным размашистым жестом вверх кистями, морщила нос при улыбке, – каждое ее движение сразу становилось заметным, притягательным, а сама она образцом для подражания. Даже ее манеру, задумавшись, прихватывать зубами пушистый хвостик косы переняли все, у кого были косы…

Несмотря на возникшее девчачье обожание, школу Таня никогда не полюбила. Окруженная десятками девочек, добивающихся ее внимания и дружбы, она чувствовала себя более одинокой, чем в Звенигороде. Еще более одинокой чувствовала себя только Тома Полосухина, забитая, с малиновой шелушащейся обводкой вокруг рта двоечница с последней парты. Съежившаяся сутулая девочка, с которой никто не хотел сидеть…

Тома не принадлежала к числу Таниных обожательниц – межзвездные расстояния пролегали между ними…

## 8

Скромную, очень скромную специальность выбрала себе Елена. Но никогда не пожалела о своем выборе. Нравилось ей в этой работе все: специальный стол с подсветкой, кульман, и разные сорта бумаги, с которой приходилось работать – мутноватая льдистая калька, рыхлый полуватман, сизые скользкие синьки. Нравился и запах туши, и шорох карандаша. И даже мелкие незначительные операции, без которых не обойтись, но которые тоже требуют умения, вроде заточки карандашного грифеля…

Все эти первоначальные вещи она поняла еще во время обучения. Потом, поработав год-другой, она полюбила и более существенную, очень успокоительную сторону чудесной профессии чертежника – каждый предмет, показывая себя, поворачивался в трех проекциях, и этого было совершенно достаточно, чтобы он был описан полностью, не оставляя в себе никакой тайны, никакого уединенного места. Все как есть…

Порой Елене казалось, что все явления, как и все предметы, можно описать в трех позициях – анфас, профиль, вид сверху. Не только деталь танкового мотора, но и ветер, и боль в животе, и любое сказанное слово.

Ее учителем был первый муж, Антон Иванович Флотов, великий мастер чертежного дела, даже можно сказать, искусства. Они познакомились в затененном, незначительном месте, на курсах черчения, где Елена была студенткой, а он – преподавателем. С виду он был старообразен, опрятен и сух,

хотя было ему всего двадцать девять. Ей едва исполнилось семнадцать, и она только-только вырвалась из подмосковной сельскохозяйственной коммуны, удивительного и в высшей степени странного места, где проходило ее детство. Община эта была толстовская, и руководил ею родной отец Елены, Георгий Иванович Мякотин.

Девочка, выросшая в столь особых, совершенно уникальных обстоятельствах, грамоте обученная по толстовским детским книжкам, с детства доившая коров, не в шутку, а всерьез работавшая и в поле, и на общественной кухне, молчаливая слушательница застольных дискуссий о Вивекананде и Карле Марксе и согласного пения народных и народнических песен, чувствовала себя в Москве одинокой, в окружении чуждого и опасного мира. Бабушка Евгения Федоровна была единственным человеком, которого Елена не дичилась.

С Антоном Ивановичем, будущим мужем, соединило Елену более, чем любовь, подспудное чувство иррациональной вины за свою «отдельность», «неслиянность» с веселой и дружной общностью невинных людей. Оба они ощущали свою социальную неполноценность, но не прикрывались защитительной политической активностью, с биением себя в грудь и проклятиями в адрес неудачных родителей. Они принадлежали к другой, смиренной породе людей, предпочитающих тихое уползание в периферию жизни, под кустик, под камешек, в теневое, незаметное место.

Антон Иванович происходил из семьи архитекторов и строителей, частично эмигрировавшей, частично уничтоженной, и все его наследство составляла именно его профессия чертежника. Он из-за революции не успел получить немецкого инженерного образования, которое давали мальчикам в их семье. Чертежник же он был первоклассный, работал на большом заводе конструктором, а также вел курс черчения в заводском рабфаке.

Осторожный и внимательный, Антон Иванович год присматривался к Елене, прежде чем подойти, потом год встречался с ней по воскресеньям и женился лишь на третий год знакомства – без пылкой любви, но серьезно и обдуманно, как все, что он делал.

Родители Елены на свадьбу не приехали: отец был занят посевной и матери ехать не разрешил. Георгий Иванович приглашал дочь с зятем переезжать к ним, на Алтай. Дела в коммуне шли неплохо, и хотя с властями было много разнообразных трений, не могли коммунары предполагать, что через год-другой

всех арестуют, посадят по тюрьмам и лагерям, сошлют в такие места, где землю кайлом не расшибешь.

Тихо и мирно жили Антон и Елена в бабушкиной квартире. Зарплаты хватало на скромную жизнь, а другой Елена и не знала. Во всяком случае, после ее коммунарского детства московская жизнь казалась ей легкой и привольной. Самым интересным для нее было, пожалуй, черчение.

Начальство Елену хвалило, отмечало как старательную и способную девушку. Поскольку в бумагах ее было написано, что она из коммуны (это по недоразумению выглядело хорошо – что коммуна толстовская, не было нигде сказано), Елене даже предложили учиться дальше, на рабфаке, но ей этого совсем не хотелось. Она с удовольствием сидела за кульманом, и даже Антон Иванович удивлялся ее рвению к работе.

Однажды ей приснился сон, что Антон Иванович говорит ей какую-то простую обыденную фразу, а она видит эту фразу не обыкновенным образом, анфас, а как бы в профиль: узкая, как рыбья мордочка, слегка волнистая и вытянутая кверху острым треугольником. Жаль только, что, проснувшись, вспомнить фразу она так и не смогла. Но самый этот сон сохранился, не выветрился. После него осталась догадка, что каждая фраза имеет свою геометрию, только надо напрячься, чтобы ее уловить.

Есть в словах что-то чертежное, размышляла она. Есть «чертежность» во всем существующем, только высказать это невозможно.

Она пыталась поговорить об этом с Антоном Ивановичем, но тот только покачал головой:

– Ну и фантазии у тебя, Елена…

Сны эти, однако, изредка повторялись. Они были совершенно бессмысленны, не сообщали ничего такого, что поддавалось бы пересказу, но после них оставалось неопределенно-приятное ощущение нового.

И теперь, когда прошло столько лет и не было на свете Антона Ивановича, и даже фотографии его Елена упрятала подальше – как бы ее подрастающая девочка не узнала случайно, что Павел Алексеевич ей не родной отец, а отчим, –

всякий раз, усаживаясь на свое рабочее место, она раскрывала старинную немецкую готовальню, флотовскую готовальню, и вздыхала о покойном Антоне Ивановиче. Свою вину перед ним она никогда не забывала. Да и чертежные сны время от времени снились – зачем, для чего…

* * *

Павел Алексеевич Елениной работы не любил – к чему это утомительное сидение в конструкторском бюро? Недоумевал. Елена оправдывалась:

– Это хорошая работа. Я в ней понимаю.

– Да чего же в ней хорошего? – искренне удивлялся Павел Алексеевич.

– Не могу тебе объяснить. Это красиво.

– Пожалуй, – лукаво соглашался Павел Алексеевич. – Да только очень уж простенько. – Поддразнивал.

– Ах, Паша, что ты говоришь! – обижалась Елена. – Ничего не простенько. Иногда очень даже сложно бывает.

Павел Алексеевич ловил эту минуту, когда менялось ее обыкновенно кроткое выражение. Она слегка встряхивала головой, пушистые завитки с боков лба, всегда выбивающиеся из пучка, подрагивали, губы морщились в уголках.

– Я имею в виду, что там все механическое, никакой тайны нет, – он выставлял перед ней указательный палец. – В одном человеческом пальце больше тайны, чем во всех ваших чертежах.

Она забирала в горсть его палец:

– Может, это только в твоем пальце есть какая-то тайна. А в других – нет. Может, в чертежах не тайна, а правда содержится. Самая необходимая правда. Ну пусть не вся, а часть. Одна десятая или одна тысячная. Вообще-то я знаю, что у каждой вещи есть еще и другое содержание, не чертежное… Я сказать не

умею, – и она отпускала его руку.

– Уже до тебя сказали, – усмехался Павел Алексеевич. – Платон сказал. Называется эйдос. Идея вещи. Ее божественное содержание. Божественный шаблон, по которому все наши земные изделия отливают…

– Ну, это не для меня. Это слишком умственное, – отмахнулась Елена. Но слов Павла Алексеевича не забывала. Это была она, философия. Что-то подобное говорили и в коммуне, но тогда она была мала для таких разговоров и под них засыпала.

Павел Алексеевич смотрел на нее с горделивой нежностью: вот какая у него жена – тихая, молчаливая, говорит только по необходимости, но если уж принудить ее высказаться, суждения ее умны и тонки, и глубокое понимание…

Елене иногда хотелось бы высказать мужу свои соображения о «чертежности» мира, о снах, которые снились ей время от времени – с чертежами всего на свете: слов, болезней, даже музыки… Но нет, нет, описать это невозможно…

Два тайновидца жили рядом. Ему была прозрачна живая материя, ей открывалась отчасти прозрачность какого-то иного, не материального мира. Но друг от друга они скрывались не от недоверия, а из целомудрия и оградительного запрета, который лежит, вероятно, на всяком тайном знании, вне зависимости от того, каким образом оно получено.

## 9

Научные проблемы, которые Павла Алексеевича интересовали, всегда были связаны с конкретными медицинскими задачами, будь то борьба с ранними выкидышами, разрешение бесплодия, новые хирургические подходы к иссечению матки или кесаревы сечения при неправильном предлежании плода.

Словосочетание «буржуазная наука», все чаще появляющееся в газетах, вызывало у него брезгливую усмешку. Область науки, которой он отдал многие годы жизни, совершенно не имела, с его точки зрения, классового подтекста.

Безукоризненно честный в житейском смысле этого слова, Павел Алексеевич прожил всю свою профессиональную жизнь в советское время, давно привык пользоваться в статьях и монографиях некоторым условным языком, казенными зачинами с застывшими оборотами типа «В кругу наук сталинской эпохи…» или «Благодаря неустанной заботе партии, правительства и лично товарища Сталина…» и умел в пределах этой «фени» высказывать свои дельные соображения. Это была для него формула вежливости данного времени, вроде «милостивого государя» прошлого, и содержательной части работы она совершенно не касалась.

В начале сорок девятого года началась борьба с космополитизмом, и с первой же газетной публикации Павел Алексеевич как будто проснулся. Это было новое наступление на здравый смысл, и прошлогодняя сессия ВАСХНИЛа, ударившая по генетике и евгенике, теперь не казалась ему зловещей случайностью. Павел Алексеевич, как академик и директор института, находился теперь на таком служебном уровне, что от него требовались уверения в лояльности. Следовало публично высказаться, поддержать хотя бы словесно новую кампанию. Высокое начальство настойчиво намекнуло ему, что пора. Было также многозначительно упомянуто о его проекте, уже несколько лет лежавшем под сукном…

О выступлении подобного рода не могло быть и речи – для Павла Алексеевича это значило бы лишиться самоуважения, переступить границы обыкновенной, самой что ни на есть буржуазной порядочности.

При всем своем относительном свободомыслии, Павел Алексеевич все-таки получил традиционное образование, копирующее немецкий образец, да и все мышление его было организовано на немецкую колодку. Так уж исторически сложилось, что гуманитарные влияния в России приживались скорее французские, а в области науки и техники с петровских времен первенство оставалось за немцами. Сама идея универсализма, в латинском ее истолковании, была для Павла Алексеевича привлекательна, так что в собственно «космополитизме» не видел он никакого мирового зла.

Накануне большого собрания в Академии, в одно из последних воскресений весны он поехал в Малаховку, к своем другу Илье Иосифовичу Гольдбергу, медику и генетику, – посоветоваться. Менее подходящего советчика трудно было найти.

* * *

Еврейский Дон-Кихот, всегда успевавший сесть прежде полагавшегося ему процесса и совершенно не за то, за что следовало бы, к этому времени Гольдберг успел отсидеть два ничтожных, по масштабам тех лет, срока и готовился к третьему. Между этими ходками было еще несколько необыкновенных для него удач, когда по случайности он не оказывался в нужное время на нужном месте, и беда его обходила.

Первый заход был в тридцать втором году, за выступление, сделанное им тремя годами раньше, в двадцать девятом, на домашнем семинаре, представлявшем собой остаток давно не существовавшего Общества Вольных Философов, Вольфила. Тема выступления была отнюдь не генетическая. Гольдберг, любитель порыться в западных журналах, выкопал в «Nature» или в «Science» статью Альберта Эйнштейна о временно-пространственных отношениях. Статья ему чрезвычайно понравилась своей математической строгостью – до этого времени он никогда не встречал работ, где философские понятия интерпретировались математиками, – и он сделал о ней сообщение.

Дело было уж совсем плевое, ему дали всего три года. А сколько бы дали, если бы могли вникнуть в то, чем он в те годы сам тогда занимался, – популяционной генетикой человека?

Когда он вышел, то некоторое время проработал в Медико-биологическом институте, где успел опубликовать несколько работ по генетике популяций и дрейфу генов. Но и тут его несносный характер помог избежать большой неприятности – незадолго до разгона института он насмерть разругался с одним из ведущих сотрудников, разумеется, по глубоко принципиальным научным вопросам. Ссора была столь эмоциональной, что дело дошло до драки. Свидетели инцидента говорили, что более комичного зрелища, чем эта рукопашная, нельзя и вообразить. В пылу научной полемики Илья Иосифович выбил своему оппоненту зуб, и тот, униженный и оскорбленный, подал на него в суд. В результате Гольдберг получил год за бытовое хулиганство.

Через две недели был арестован директор института, крупнейший генетик Левит, и несколько ведущих сотрудников, среди которых был и научный оппонент с выбитым зубом. И Левита, и Гольдбергова врага в тридцать седьмом расстреляли, а Гольдберг – несусветный бред советской жизни! – освободился ровно через год… Хулиганам советская власть благоволила…

Счастливым образом Илья Иосифович увернулся и от следующего неминуемого ареста: после освобождения он уехал в Среднюю Азию, где занялся совершенно новой для себя областью – генетикой и селекцией хлопчатника. Хотя мракобесное наступление на науку было уже широко развернуто – генетические лаборатории разогнаны, многих посадили, но еще не знали, сколь многих из них расстреляли, – с хлопчатником дело обстояло особо: он был сырьем для военной промышленности. Лаборатория, в которой пристроился Илья, оказалась полусекретная, и до него, по халатности, по недоразумению или в силу тугодумства администрации, не добрались… В этот недолгий, относительно спокойный для него период, Илья успел жениться на своей лаборантке, хорошенькой Вале Попковой, в тридцать девятом году родились – ироническая усмешка небес! – однояйцевые близнецы, классический объект исследования генетиков, и имена он выбрал своим детям многозначительные: Виталий и Геннадий.

Семья прожила в запретной зоне секретной лаборатории несколько лет, пока не началась война. А когда война началась, пылкий Гольдберг, окончивший медицинский факультет в начале двадцатых годов вместе с Павлом Алексеевичем, но в отличие от друга никогда практической медициной не занимавшийся, записался на ускоренные курсы переквалификации и оказался в госпитале, в должности заведующего клинической лабораторий. Так, военврачом, он и прошел всю войну от звонка до звонка, без ранений и даже с наградой не пустяковой – с Красной Звездой, полученной за эвакуацию из захваченного немецкими войсками городка транспорта с ранеными. Самым комичным, но и характерным для Гольдберга было то обстоятельство, что из-за ссоры с начальником госпиталя он грузил лабораторное имущество последним, когда город был уже взят, о чем он и не знал, а единственным раненым, которого он вывез, был штабной полковник, за которым должны были прислать машину, но она не дошла – дорога была уже отрезана.

Когда Гольдберг закончил погрузку, он увидел колонну немецких танков и, дождавшись сумерек, сел за руль крытого грузовичка с имуществом и с полковником и выехал беспрепятственно из города, вовсе не проявив свойственного ему шумного героизма, а, напротив, исключительное хладнокровие, совершенно ему, бешеному и горячему, не присущее…

По милости судьбы арестован он не был даже тогда, когда в самом конце войны написал гневное письмо на имя члена Военного Совета о мародерстве и массовых изнасилованиях немецких женщин, о недостойном поведении

советских солдат и даже офицеров, носящих высокое звание воинов-освободителей… Начальник госпиталя, узнав о письме от самого простодушного, праведным гневом горящего автора, через знакомого смершевского капитана выудил послание из почтового потока и, получив на руки, немедленно уничтожил, после чего провел Гольдберга через срочную демобилизацию и велел убираться на все четыре стороны, желательно подальше. Честный Гольдберг, ничего не знавший о маневре своего благородного начальника, еще и запрос писал в Военный Совет, требуя ответа на изъятое письмо.

Однако в глуши хорониться Гольдберг не собирался. Приехал в Москву, выписал семью из Ферганы и начал поиски работы по специальности. Через некоторое время обнаружил, что науки, столь его увлекавшей, почти не существует. Он помыкался какое-то время без работы и пристроился под крыло великой женщины, Маргариты Ивановны Рудомино, взявшей безработного генетика старшим библиографом в Библиотеку иностранной литературы, где он почти три года и просидел с каталогами, картотеками, немецким, английским, польским, литовским и латынью, выученной им в немецкой Питер Пауль Шуле, лютеранской школе, которую успел окончить Гольдберг. Школа эта чудом просуществовала в Москве до середины двадцатых годов.

Пребывание Ильи Иосифовича в служебном помещении на улице Разина, в пяти минутах от Кремля, в недрах библиотеки, почти не тронутой цензурой, несколько изменило его научные устремления. Он перечитал тонны книг по истории – его заинтересовала гениальность как феномен и ее наследование. Однако сама гениальность плохо поддавалась определению, формализации, – генетика же была наука строгая и оперировала явлениями качественными, а не количественными. Как провести границу между хорошими способностями, блестящими способностями и гениальностью? Гольдберг сличал энциклопедии всех времен и народов и для начала составил достоверный список гениев – на основании их встречаемости в энциклопедиях. Каким-то хитрым статистическим приемом доказал правомерность такого выбора. Далее он уже работал со своими избранниками, которых насчитывал по сотне на каждое столетие. Сети свои разбросал он так широко, что туда попали и золотой век Афин, и итальянское Возрождение, и дворянский период русской литературы.

Следующим этапом его работы был поиск какого-то признака-маркера, связанного с гениальностью. Он был совершенно уверен в существовании таких маркеров, и вопрос заключался для него в том, как их найти. Он искал что-то вроде дальнозоркости в сочетании с родинкой на правом плече или леворукости

– с диабетом… И жадно ворошил биографии великих людей, скрупулезно выискивая упоминания о болезнях, которыми болели гении, их родители и дети, о физических особенностях, дефектах и отклонениях…

Эта на редкость завиральная книга была бы им написана десятью годами раньше, если бы сам он, по своей дикой воле, не вылез на заседание ВАСХНИЛа с невнятным ревом в адрес сталинского любимца Трофима Денисовича. Прорычав свои обличения пополам с фронтовым матом, никогда прежде и никогда позже им не используемым, он был увезен с известного заседания непосредственно на Канатчикову Дачу… Именно там, временно отпустив своих гениев на свободу, он и написал обличительный документ – с развернутыми мотивировками, ясной и четкой аргументацией и совершенно уничтожающей критикой в адрес академика Лысенко – для предъявления в отдел науки ЦК и отдельный экземпляр товарищу Сталину лично…

И снова ему повезло: заведующий отделением, куда его поместили по «Скорой помощи», старый психиатр Шубников, почувствовавший к нелепому герою интерес и симпатию, поставил ему спасительный диагноз «шизофрения» и выпустил с третьей группой инвалидности.

Прошло уже несколько месяцев, как Илья Иосифович отправил свой трехсотстраничный шедевр в вышестоящие адреса, он вернулся к своим гениям и их наследственным заболеваниям и ждал ответа на свое послание. Или ареста. Вот к такому товарищу и в такое время поехал Павел Алексеевич, чтобы обсудить «текущий момент».

* * *

Жил Гольдберг с семьей в деревянном двухэтажном доме барачного типа. Когда-то здесь было фабричное общежитие, потом фабрику закрыли, рабочих выселили, а дом распродали по квартирам. Одну из квартир и купил, вернувшись с фронта, Гольдберг. Купил, собственно, Павел Алексеевич. Илья Иосифович, невероятно щепетильный в денежных делах со всеми, делал исключение для своего друга и позволял ему благотворительствовать на том основании, что Павел Алексеевич, в отличие от всех прочих, должен был понимать, что, помогая ему, он помогает всему человечеству – своим изысканиям Гольдберг придавал огромное значение. Наука, по его глубокому убеждению, была призвана спасти мир.

Великий идеалист от материализма – посмеивался над ним Павел Алексеевич в редкие часы их мирных бесед. Но часы мира были в самом деле довольно редкими. Илья Иосифович совершенно не терпел возражений, защищал свои самые завиральные идеи с большой страстью и быстро переходил границы корректного научного спора. Даже терпимого Павла Алексеевича он умел вывести из себя, и их встречи обыкновенно кончались ссорами, криками, хлопаньем дверями. Илья Иосифович укорял Павла Алексеевича в приспособленчестве, тот пытался оправдываться: он спасал не мир, а несколько десятков, в лучшем случае, сотен, брюхатых баб и их приплод, и, по ему мнению, дело того стоило.

Илье Иосифовичу этого было мало – полет его мысли был высок до писка, и он пророчил полную переделку мира с помощью хорошо поставленной генетики: через двадцать лет генами можно будет пользоваться как кирпичиками, строить из них новый мир, с многократно увеличенными полезными качествами растений и животных, и самого человека можно будет конструировать заново – вводить ему те или иные гены и сообщать новые качества.

– Какие качества? – сдержанно интересовался Павел Алексеевич.

– Да какие угодно! – размахивал руками Илья Иосифович, и остатки тонких волос взлетали над головой. – Мы научимся вычленять из генома отдельные гены, ответственные за гениальность, и можно будет создавать математиков, музыкантов, художников в таком количестве, какого и Возрождение не знало!

– Погоди, но это как раз и называется евгеникой, – останавливал его Павел Алексеевич. – Гениев много не надо. А то их будут сажать и расстреливать.

– Паша, мы переживаем теперь времена инквизиции. Это неизбежно пройдет, как прошли времена испанской. Будущее за нами, за учеными. Другой силы, которая могла бы спасти мир, не существует! – Худые длинные руки метались в воздухе, выпуклые серые глаза блестели больным огнем. Желтоватый ястребиный нос, большой кадык на морщинистой шее, сутулая костлявая фигура – спаситель мира!

Павел Алексеевич мотал головой, жмурился, старался смолчать: безумец, святой безумец, бритвенного тазика не хватает…

* * *

На этот раз долгого обсуждения не понадобилось. Илья был мрачен. После первой бутылки водки он впал в монолог:

– Мы теряем время. Мы теряем преимущество! В последние годы в Америке вышло несколько работ первостепенной важности. Альфред Стертевант на пути к объяснению возникновения новых генов! Где Кольцов? Где Четвериков? Завадовский! Вавилов! Гениальный Лев Ферри! Неужели ты не понимаешь, что это вредительство? Вся кампания с Лысенко – вредительство! Эта кампания по борьбе с космополитизмом, она на руку империализму, Паша! Они хотят уничтожить таким хитроумным способом советскую науку… Наука должна служить человечеству, а у империалистов она будет служить голой наживе, золотому тельцу…

Голос его сначала грохотал, потом снизился, как будто высох, – влага наполнила светлые, в красных прожилках глаза и потекла из-под очков…

Павел Алексеевич испытывал ужасную неловкость от глупого пафоса, вертел пустую рюмку и все никак не мог вставить ни единого слова. Наконец, пока Илья Иосифович временно молчал, шаря по карманам в поисках платка, он произнес тихо:

– Илюша, я думаю, ты, как всегда, преувеличиваешь. Не интересует их космополитизм. Я думаю, все проще – наш Хозяин просто хочет скрутить голову евреям.

Валя, когда-то худенькая девушка, потом толстая баба, а теперь снова сильно похудевшая, время от времени засовывала кудрявую голову в мужнин узкий кабинетик, напоминающий тюремную камеру, где и происходило дружеское собеседование, и умоляюще шептала «Илюша, дети…», или «Илюша, соседи…», или просто: «Умоляю тебя, потише…» Они выпили еще одну бутылку и, как всегда, перед расставанием разругались. Илья Иосифович горой стоял за всемирную справедливость, начиная с ее научного конца, и готов был за это сложить голову. А Павел Алексеевич в справедливость нисколько не верил, его интересовали исключительно мелочи – какие-то беременные посудомойки, гнусные операции, о которых еще Цицерон выступал в сенате. На последнее обстоятельство как раз и указал Илья Иосифович. Павел Алексеевич оживился –

он всегда ценил неисчерпаемую эрудицию своего друга:

– Так что Цицерон говорил?

– А то, – кричал Илья Иосифович, – что этих баб надо казнить, потому что они крадут у государства солдат! Тысячу раз прав был!

Тут-то Павел Алексеевич побелел, встал и, натягивая пальто, зло сказал единственному другу:

– Умная у тебя голова, Илья, только жаль, дураку досталось. Бабы, что же, для того рожать должны, по-твоему, чтобы мерзавцы их в такие мясорубки отправляли?

Он хлопнул дверью. Черт его, дурака, подери! Но про Цицерона запомнил, хотя и был изрядно пьян.

* * *

На следущий день к Гольдбергу пришли с обыском и арестовали. Его обвинительный документ в адрес Лысенко дошел-таки по назначению.

Об этом аресте Павел Алексеевич узнал только через неделю, когда Валя, после многих колебаний, все же решилась ему позвонить.

* * *

А в тот последний их малаховский вечер пьяный Павел Алексеевич долго искал станцию, домой добрался за полночь и еле помнил происшедшее. Наутро он чувствовал себя настолько плохо, что развел полстакана спирта и похмелился. На душе полегчало, даже какая-то не свойственная ему беспечность взошла, как солнышко, не информированное о кровожадной глупости газетных статей, людей, их пишущих и читающих.

Елена, выбитая из колеи вчерашним ночным возвращением пьяного мужа, полночи не спавшая, натягивала в прихожей фетровые ботики на старые туфли,

собиралась на работу. Павел Алексеевич, в солдатском исподнем, какое носил с войны, вышел в коридор и, распахнув руки, крикнул:

– Девочка моя! Поехали на конюшню! К лошадкам!

Елена, поняв, что муж пьян, растерялась. Никогда не видела его в таком распоясанном виде, да еще и поутру.

– Пашенька, что с тобой?

Таня, успевшая уже надеть школьную форму и причесаться, счастливо взвизгнула:

– Папа, ура!

И повисла на его руке. Он подхватил ее:

– Мы сегодня прогуливаем! – подмигнул он дочери. – Звони на работу, Леночка, скажи им, что не придешь. Больна. За свой счет. Что угодно!

Происходило что-то непривычное, новое. Он был такой надежный, и сомнений не было в его всегдашней и заведомой правоте, и подчиняться ему было приятно и радостно… И Елена, растерянно улыбаясь, слабо возражала: – Какая конюшня… какие лошади… Прогул же будет… – Но уже тянула руку к телефону, чтоб позвонить сослуживице и предупредить, что на работу сегодня не выйдет…

Павел Алексеевич стягивал с нее серую козью шубу и объяснял:

– Сейчас в Институт коневодства поедем. Меня Прокудин давно звал на лошадок посмотреть. Давай, давай! Танька, лыжный костюм надевай!

– Пап, правда? – не совсем еще верила Таня.

Василиса, заслышав суету в коридоре, выглядывала из кухонного проема.

– Гавриловна! Яичницу! Королевскую! – приказал Павел Алексеевич громким веселым голосом, и она в полном недоумении пошла исполнять: королевская была на самом деле деревенская, с жареным луком и с картошкой, и ел он ее только по воскресеньям, в будние же дни по-прежнему не завтракал…

– И мне королевскую! – радуясь приключению, подхватила Таня.

Сели и позавтракали по-воскресному, хотя был самый что ни есть понедельник. Павел Алексеевич еще и выпил стопку водки, и Елена смотрела с недоумением: прежде такого не бывало – пить с утра…

Что-то ей мерещилось тревожное в этом утреннем приключении, и, повинуясь чутью, ни на минуту не задумавшись, она спросила:

– Паш, да у тебя ж сегодня собрание в Академии… Ты же должен…

– Не должен! – взревел Павел Алексеевич. – Никому ничего не должен! Пусть все идут к … матери!

И это матерное слово, сорвавшееся с его крупных губ, было крепким и полновесным, как и все в нем. Полотно, обтягивающее алюминиевые пуговицы рубахи, состиралось, сквозил тусклый металл, седой нагрудный барашек лез из распахнутого ворота, на бычьей шее темнели вздутые жилы…

Елена обняла его за шею:

– Тише, миленький…

И он затих, прижал ее к груди.

– Прости.

Когда они, тепло одетые, с санками для Тани, уже стояли в дверях, Павел Алексеевич приказал Василисе Гавриловне:

– Звонить будут, скажи: запил хозяин.

Она смотрела непонимающим глазом.

– Так и скажешь: запил.

Василиса понять не поняла, но поручение исполнила с точностью.

Экспромт оказался гениальным. Павел Алексеевич был не единственным, кто сказался в тот день больным. Но он был единственным, кому это сошло с рук. Две недели он не ходил в клинику, а в Академии не появлялся четыре месяца, пока за ним не закрепилась репутация запойного пьяницы.

Прежде пьющий охотно на банкетах по случаю защиты диссертаций, на семейных торжествах и на поминках, теперь он стал пить по иному случаю: всякий раз, когда страсти накалялись и от него требовали уверений, или подписи, или публичных выступлений. Он честно напивался, и Елена, догадавшаяся об истинной причине его внезапного пьянства, сама звонила в Президиум и нежным голоском сообщала, что Павел Алексеевич прийти не сможет, потому что у него обычный его приступ, вы же понимаете…

И Павел Алексеевич в особенно гнусные времена оставался дома, выпивал с утра стакан водки, играл с Таней, учил Василису делать пельмени или просто слонялся по квартире, натыкаясь то и дело на маленькие записочки, которые его жена Елена писала сама себе. Трогательные записочки, начинавшиеся всегда одними и теми же словами: не забыть… А дальше шло – купить яблоки, сдать белье в прачечную, отдать в починку сумку… Забавно было, что записочек этих было много, и написано все было одно и тоже – яблоки, прачечная, починка…

Он знал, что Елена не была хорошей хозяйкой, и это ее старание ничего не забыть, все успеть, умиляло Павла Алексеевича. Достоинства жены восхищали его, а недостатки умиляли. Это и называется браком. Их брак был счастливым и ночью, и днем, а взаимное понимание казалось особенно полным оттого, что, будучи скрытными и молчаливыми по натуре и обстоятельствам воспитания, оба нисколько не нуждались в словесных подтверждениях, которые так быстро изнашиваются у разговорчивых людей.

Запои Павла Алексеевича, несмотря на их изначально дипломатический характер, отнюдь не были фиктивными. Елена, хоть и тревожилась о здоровье своего немолодого мужа, не делала никаких попыток как-то его остановить. Не

разум, а женское чутье, как всегда, руководило ею. Она ничего не знала о природе пьянства, в особенности пьянства русского, когда не находящая выхода душа находит легкое и доступное утешение: ни лжи, ни стыда.

В такие запойные времена Елена иногда брала отпуск, и они с Павлом Алексеевичем отправлялись на дачу. Однажды такой краткий отпуск пришелся на осень, два раза – на зиму. Не было у нее лучших дней в жизни, чем эти запойные каникулы, когда он отбрасывал от себя все свои многочисленные заботы и полностью принадлежал ей. Упущенная ими обоими первая молодая горячка, незамысловатые откровения кажущейся бездонности, где все кончалось – об этом Павлу Алексеевичу хотелось бы забыть, и иногда удавалось, – несколькими милиграммами секрета да отмеренной дозой таинственного вещества, упакованного в белковую оболочку… И когда сил уже не было руку за стаканом воды протянуть, на дне холодело – все напрасно, все напрасно: оставалась непереходимая граница, через которую вдвоем переступить невозможно. И лекарство от этого было одно: снова и снова пытаться…

Елена к третьему запою уже знала, что следующий за ним период трезвости будет для нее испытанием. Она и боялась, и в глубине души ждала того утра, когда Павел Алексеевич, выпив первый освобождающий стакан, скажет ей:

– Собирайся-ка, душа моя, съездим на дачу…

* * *

В Академии между тем от него отвязались: репутация пьяницы была своеобразной индульгенцией. Ни к одному пороку в нашей стране не относятся так снисходительно, как к пьянству. Все пьют – цари, архиереи, академики, даже ученые попугаи…

## 10

В двадцатых числах мая наступила преждевременная жара, и все сделались от нее немного больными. До конца школьных занятий оставалось еще несколько

дней, но вся программа уже была пройдена и оценки – и четвертные, и годовые – выставлены. Известно было, кто прошел в отличники, кто оставлен на второй год. Школьницы и учителя изнывали от пустоты времени, от его сонной неподвижности.

Галина Ивановна, старая школьная учительница, изношенная лошадь с обвисшим крупом, пришла в класс в новом платье – в летнем, грязновато-бежевом, в прерывистых черных линиях, которые то теряли друг друга, то снова находили, выкидывая кривые отростки.

Галина Ивановна вела этот класс уже четыре года, учила их всему, что сама знала: письму, арифметике, рисованию, и девочки за эти годы выучили также наизусть оба ее шерстяных зимних платья, серое и бордовое, а также синий парадный костюм в налете серого кошачьего волоса.

С первого урока будущие пятиклассницы горячо обсуждали учительницыну обновку – и поясок простоватый, без пряжечки, и покрой рукава «японка». Большинство девочек были одиннадцатилетние, это был самый неравномерный возраст, когда одни уже обзавелись округлостями и порослью кудрявых волос в укромных местах тела, а другие еще были худые, неопределенные дети с обкусанными ногтями и расцарапанными коленями. Впрочем, новое платье занимало и тех, и других.

Не менее сильно занимало оно и саму Галину Ивановну. Она пошила это платье не просто потому, что старое износилось, а еще и потому, что как раз сегодня, после окончания уроков, назначено было праздничное чаепитие по поводу сорокалетия ее учительского стажа. На большой перемене Галина Ивановна даже пошла в уборную взглянуть на себя в зеркало, поправить воротник. Звание заслуженной учительницы у нее уже было, и теперь она в глубине души мечтала, что ей дадут настоящую награду – медаль или даже орден.

Последний, четвертый урок она отвела на внеклассное чтение. Сначала девочки читали по очереди, но все, как одна, плохо. Если не запинались, то тараторили так бессмысленно, что невозможно было уловить содержание. Галина Ивановна, уставшая делать замечания, взяла в конце концов книгу и стала читать сама. Голос ее, немного высокий для такой крупной и толстой особы, слегка гнусавил, но был выразительным. Особенно проникновенно и сочувственно получилось про страдания Каштанки, замерзавшей на неприютной улице.

До конца урока оставалось всего несколько минут, и самые нетерпеливые уже бесшумно собирали портфели. Солнце палило в полную силу в окна, девочки дружно потели в своих шерстяных платьях, впившихся в мокрые подмышки.

«Никакого сочувствия не вызывает замерзающая собачка в такую жару», – подумала Таня, и в ту же минуту услышала тонкий всхлип, еще один, и задушенный рукавом плач. Галина Ивановна остановила чтение. Весь класс обернулся в дальний угол, где на последней парте все четыре года просидела совершенно бесчувственная и ко всему равнодушная Тома Полосухина. Она-то и заплакала над горькой судьбой потерявшейся и замерзшей Каштанки.

Захлопали парты, девочки повскакали с мест.

– Урок еще не окончен, – напомнила Галина Ивановна и, профессионально улыбаясь углами выцветшего рта, обратилась к Томе: – Ты что это, Тома, так расстроилась? Дома-то не прочитала? Дальше все хорошо будет, – успокоила она девочку.

– Не будет, не будет, – прохлюпала Тома, отрывая щеку от липкой парты и вытирая нос фартуком.

Она была из самых мелких, из недоростков, невзрачная и неценная, как воробей или подорожник…

Зазвенел наконец звонок. Галина Ивановна решительно закрыла книгу. Сонливость у всех как рукой сняло, томный невыносимый жар за окнами мгновенно превратился в хорошую погоду, в отличную погоду, все дрожали от нетерпения, все страшно торопились на улицу, чтобы скакать на расчерченном асфальте, скакать через веревочку поодиночке, вдвоем или целыми группами, скакать просто так, без всяких приспособлений, прыгать, брыкаться, как молодые жеребята или козлята, кувыркаться, толкаться и бессмысленно носиться…

Тома еще шмыгала носом, собирая свои грязные учебники, когда к ней подошла Таня. Зачем подошла, и сама не знала.

– Ты чего? – спросила Таня.

Таня была не воробей и не подорожник, она была что-то редкостное, вроде королевской лилии или большой прозрачной стрекозы. И обе они отлично знали, кто есть кто…

Но в этот день у Томы было нечто огромное и ужасное, чего не было и не могло быть у Тани, и это равняло их, и даже, может, поднимало Тому над всем миром, и потому она, никогда ничего о себе не говорившая, да никому не было интересно знать про нее, сказала:

– У меня мамка помирает. Домой боюсь идти…

– Я тебя провожу, – бесстрашно предложила Таня.

Будь это вчера, Тома бы гордилась и радовалась, что Таня провожает ее домой, но сегодня это было почти все равно…

Они прошли через звенящий девчачьими криками и бликующий зеленым золотом школьный двор, пронырнули через два проходных двора, в одном месте перелезли через изгородь и остановились перед входом в «фатеру». Так Томкина мать называла их служебное жилье, которое еще перед войной дали ее мужу, погибшему в сорок четвертом. Это был бывший гараж, с прорезанной во въездных воротах дверью. Томка топталась у входа, Таня решительно толкнула дверь.

Первый удар пришелся по обонянию. Запах кислой сырости, мочи и керосина, но все это протухшее, сгнившее, смертельное… Две веревки, натянутые через помещение, были завешаны мокрым бельем. В глубине, под горизонтально вытянутым окном, выходящим на кирпичную стену, стояла огромная семейная кровать, на которой, как на русской печи, спала обыкновенно вся семья: мать, Тома, двое младших братьев.

Сначала показалось, что кровать пуста, но когда глаз привык к полумраку, на подушке различилась маленькая голова в толстом платке. Рядом с кроватью стоял таз, полный бурого белья. Девочки подошли к постели – средоточию ужасного запаха.

– Мам, мама, – позвала Тома.

Из-под платка послышался стон.

– Может, тебе поесть или попить? – плачущим голосом спросила Тома.

Но никакого ответа не последовало, даже и стона.

Тома отодвинула в сторону пахучее одеяло – женщина лежала на красной простыне. Таня не сразу сообразила, что это кровь. Бурое белье в тазу тоже было окровавленным, но потемнело на воздухе.

– «Скорую помощь» надо, – решительно сказала Таня.

– Она не велит «Скорую», – прошептала Тома.

– Так ведь кровь, кровотечение же, – удивилась Таня.

– Ну да, кровотечение. Ковырнулась она, – объяснила Тома. И не уверенная, что Таня ее правильно поймет, пояснила: – Она водит к себе кобелей-то, вот и ковыряется. Доковырялась.

Тома всхлипывала. Таня зажмурилась: грохот, скрежет, обвал… Шатались стены, смещались пласты, разверзлись смрадные пропасти… Рушилась вся жизнь, и Таня понимала, что с этой минуты прежней она уже не будет никогда…

– Я папу моего вызову, вот что…

– Сказала тоже… Не пойдет он к нам.

– Жди… Я скоро.

За пять минут Таня добежала до дома. Мамы не было, открыла Василиса:

– Ты что как ошалелая?

Таня не ответила, кинулась к телефону, звонить Павлу Алексеевичу. Долго не отвечали, потом сказали, что он на операции.

– Да что случилось-то? – допытывалась Василиса Гавриловна.

– Ах, да ты не поймешь, – отмахнулась Таня.

Ей казалось, что она никому не должна открывать это ужасное знание, потому что, кому ни скажешь, и у того тоже жизнь рухнет, развалится, как у нее самой. Эту тайну надо хранить…

– Я скоро, – крикнула она уже с порога и, хлопнув дверью, понеслась вниз по лестнице.

Таня плохо помнила, как, не дождавшись троллейбуса, добежала до метро, как доехала до Парка культуры, а потом снова бежала по длинной Пироговке. Казалось, что бег ее был бесконечным, многочасовым. В проходной отцовской клиники ее остановили.

– Я к папе… к Павлу Алексеевичу…

* * *

Ее сразу же пропустили. Бегом она поднялась на второй этаж, толкнула стеклянную дверь – навстречу ей шел отец, в белом халате, в круглой шапочке. Вокруг него толокся целый выводок врачей и студентов, но он шел впереди всех, самый высокий, самый широкий, с густо-розовым лицом, в больших бровях с седой подпушкой. Он увидел Таню. Казалось, что самый воздух расступился перед ним:

– Что случилось?

– У Томы Полосухиной мать помирает. Ковырнулась она! – выпалила Таня.

– Что такое? Кто тебя сюда впустил? – взревел он. – Вниз! В приемный покой! Ждать меня там!

* * *

Таня кинулась вниз, глотая слезы.

Несмотря на всю свою храбрость, он все-таки испугался. Одного доноса достаточно, и вся жизнь в тартарары…

Через три минуты Павел Алексеевич спустился в приемное отделение. Таня рванулась к нему:

– Папа!

Он снова остановил ее взглядом:

– Спокойно объясни, что там у вас случилось?

– У Томы Полосухиной, пап… скорее… мама ее помирает…

– Чья мама? Кто? – холодно спросил Павел Алексеевич.

– Дворничиха наша, тетя Лиза. Они в гараже живут, за нашим домом. Она ковырнулась, вот что… Пап, там у них так ужасно… Пап, столько крови…

Он снял очки, потер переносицу. Слово «ковырнулась» в Таниных устах…

– Значит, так… Немедленно поезжай домой.

– Как?

– Как сюда приехала, так и обратно.

Таня сама себе не верила. Отца как будто подменили. Никогда он не разговаривал с ней таким железным голосом.

Сгорбившись, она вышла на улицу…

Через тридцать минут Павел Алексеевич вошел в полосухинский гараж. С ним был его ассистент Витя. Шофер санитарной машины, на которой они приехали, из кабины не вышел.

* * *

С первого же взгляда Павел Алексеевич оценил все здесь происходящее: это была она, его главная, его несчастная пациентка. Военная вдова или мать-одиночка, скорее всего пьющая, возможно, гулящая… Он тронул широкую холодную руку маленькой дворничихи, пальцем оттянул веко. Делать здесь было уже нечего. Возле кровати стояли трое детишек, два маленьких мальчика и девочка, смотрели на него во все глаза.

– А где Тома? – спросил Павел Алексеевич.

– Я Тома.

Павел Алексеевич посмотрел на нее внимательно: он сначала принял ее за семилетнюю, теперь, приглядевшись, понял, что она и есть Танина одноклассница.

– Тома, ты сейчас забери малышей и поднимайся в двенадцатую квартиру. В сером доме, знаешь?

Она кивнула, но все стояла на месте.

– Иди, иди. Откроет Василиса Гавриловна. Скажешь, Павел Алексеевич вас прислал. Скажи, чтоб стол накрывала. Я сейчас приду.

– А в больницу мамку заберете?

Он загораживал своей могучей фигурой кровать и несчастную женщину, которой уже не было.

– Иди, иди. Все сделаем, что нужно…

Дети ушли.

* * *

– Ну что, мы вляпались в историю… В морг надо ее везти… – полувопросительно сказал ассистент.

– Нет, Витя. Мы ее в наш морг не можем брать. Я сейчас пришлю Василису Гавриловну. Она вызовет «Скорую», милицию… Нас здесь не было… – сморщился Павел Алексеевич. – Сам знаешь, живую я бы взял…

Витя это хорошо знал. Собственно, все врачи знали, как близко здесь проходит статья Уголовного кодекса.

* * *

Смерть Лизы-дворничихи всколыхнула весь крещеный мир по нечетную сторону Новослободской улицы до самого Савеловского вокзала, вызвала целую бурю страстей и многих людей рассорила навеки. После того как Василиса Гавриловна вызвала «Скорую» и милицию и скрюченное тело умершей увезли в судебно-медицинский морг на экспертизу, скандал развивался в двух основных направлениях, в жилищном и в медицинском.

На «фатеру» претендовали три значительных фигуры, первой из которых был сам домоуправ Костиков, возмечтавший поселить в бывшем гараже свою сестру, жившую с дочкой на его площади уже третий год – все ожидала жилья на заводе, где работала, но как-то безнадежно. В самый день смерти, ловя мгновение, Костиков оформил сестру на должность покойной Лизы и считал, что теперь-то жилье никуда от них не уйдет. Вторым претендентом был электрик из домоуправления Костя Сичкин, который замаялся жить в девятиметровке с тремя наличными детьми, тем более что четвертый был уже на подходе. Еще был один человек, тоже не со стороны – участковый милиционер Куренной, занимавший в общежитии самую большую комнату, но собиравшийся жениться и находившийся в боевой готовности. Прочий мелкий люд из бараков тоже был не прочь улучшиться, но у тех и шансов не было.

С медициной дело обстояло еще более серьезно. Экспертиза показала, что Лиза-дворничиха умерла от кровотечения, начавшегося в результате перфорации стенки матки, и злосчастная подпольная медицинская сила вытащила через это нечаянное отверстие неизвестным инструментом половину кишечника…

Уголовный кодекс оценивал это неудачное вмешательство сроком от троих до десяти лет, в зависимости от квалификации производившего аборт: врач в случае летального исхода получал десятку – вдвое больше, чем любитель. В чем была своя справедливость.

Всему кварталу были известны имена двух женщин, которые промышляли этим небогоугодным занятием: бабка Шура Зудова и молдаванка Дора Гергел. Первая была попроще и подешевле. Делала вливание и вставляла катетер. Обычно помогало. Иногда у особо крепких или у нерожавших дело не выходило. Тогда Зудова разводила руками и денег не брала.

Дора была медработник, все делала по науке, без осечек. Она переехала в Москву из Кишинева после войны. Чернявая красавица с огненными глазами – подозрительные, но не проницательные соседи принимали ее за еврейку. Всяческого рода ловкость была ей присуща: и замуж сумела выскочить за майора, несмотря на то что была уже с ребенком, и хозяйка была сметливая – в Москве, на новом месте, даже и при карточках быстро сообразила, что где берется. И на работу устроилась сестрой в больницу, хотя и диплом-то ее медсестринский был какой-то липовый, даже не на русском языке написан. Она-то и делала на дому аборты настоящие, даже с обезболиванием, но дорого брала. Ходили к ней кто побогаче, и Лизка вряд ли до нее дотянулась бы. Так что двор без колебаний решил, что это Зудина все дело так неловко состряпала.

На второй день во двор пришел следователь. В «фатере» сделали обыск, но не нашли ни инструмента, ни медикаментов.

– Ищи дураков, так вам и оставят, – насмехался двор.

Следователь, молоденький парнишка с тонкой шеей, допрашивал соседок и краснел. Все молчали. Но доносчица, как всегда, нашлась. Ближайшая зудинская соседка, Настя-Грабля, за стенкой, не стерпела, потому что была прирожденным борцом за правду.

– Чего не знаю, не скажу. Про Лизку сама не видела, а другим она вставляет, очень даже помогает, – прошептала следователю прямо в ухо.

– А сами-то прибегали? – поинтересовался следователь.

– Упаси боже, мне этого давно не надо, – отговорилась Грабля.

– Так откуда же вы знаете?

Тут Грабля подвела его к фанерной перегородке, стукнула ногтем и тут же услышала в ответ:

– Чего тебе, Наська?

– Да так, – с задором ответила Грабля, и тихо, прямо в следовательское ухо зашептала: – Слышно ведь все – до последней копейки. От соседей ни вздохнуть, ни перднуть…

Следователь записал в тетрадь и ушел – у него теперь была версия.

Дух сыска, ссоры и вражды был так силен, что проник даже в мирный дом Павла Алексеевича. Началось это вечером того дня, когда увезли Лизавету. Детей Полосухиных уложили спать в Таниной комнате, а ее саму перевели в родительскую спальню.

За поздним ужином собрались одни взрослые – Павел Алексеевич, Елена и Василиса Гавриловна, которая хоть и неохотно, но изредка садилась с ними за стол. Для этого требовались особые обстоятельства: праздник или какое-то происшествие, вроде сегодняшнего. Она предпочитала есть в своей комнатке, в тишине и с молитвой.

Закончив еду, Павел Алексеевич отодвинул тарелку и сказал, обращаясь к Елене:

– Теперь ты понимаешь, почему я столько лет трачу на это разрешение?

– На какое? – переспросила рассеянно Елена, погруженная в свои мысли. Дети Полосухины не давали ей покоя.

– На разрешение абортов.

Василиса едва не выронила чайник: мир рухнул. Почитаемый ею Павел Алексеевич был, оказывается, на стороне преступников и убийц, хлопотал за них, за их бесстыжую свободу. И сам убийца… Но этого и представить себе было невозможно… Как это?

Павел Алексеевич подтвердил, пустился в объяснения – это был его конек.

Василиса сжала свои темные губы и молчала. Чаю пить не стала, чашку отодвинула, но в свою каморку не ушла. Сидела молча, глаз не поднимая. – Ужасно, ужасно, – опустила голову на руки Елена.

– Что ужасно? – раздражился Павел Алексеевич.

– Да все ужасно. И что Лизавета эта умерла. И то, что ты говоришь. Нет, нет, никогда с этим не смогу согласиться. Разрешенное детоубийство. Это преступление хуже убийства взрослого человека. Беззащитное, маленькое… Как же можно такое узаконивать?

– Ну конечно, пошло толстовство, вегетарианство и трезвость…

Она неожиданно обиделась за толстовство:

– Да при чем тут вегетарианство? Толстой не это имел в виду. Там в Танечкиной комнате три таких существа спят. Если бы аборты были разрешены, их тоже бы убили. Они Лизавете не очень-то нужны были.

– Ты что, слабоумная, Лена? Может, их бы и не было на свете. Не было бы теперь трех несчастных сирот, обреченных на нищету, голод и тюрьму.

Впервые за десять лет надвигалась на них серьезная ссора.

– Паша, что ты говоришь? – ужаснулась Елена. – Как ты можешь такое говорить? Пусть я слабоумная, но не в уме дело. Они же убивают своих детей. Как можно это разрешить?

– А как можно этого не разрешить? Себя-то они тоже убивают! А с этими что делать? – Он указал на стену – там спали жалкие хилые дети, от которых матери в свое время не удалось избавиться. – С ними что прикажешь делать?

– Не знаю. Я только знаю, что убивать их нельзя, – впервые слова мужа вызывали в ней чувство несогласия, а сам он – протест и раздражение.

– Ты подумай о женщинах! – прикрикнул Павел Алексеевич.

– А почему надо о них думать? Они преступницы, собственных детей убивают, – поджала губы Елена.

Лицо Павла Алексеевича окаменело, и Елена поняла, почему его так боятся подчиненные. Таким она его никогда не видела.

– У тебя нет права голоса. У тебя нет этого органа. Ты не женщина. Раз ты не можешь забеременеть, не смеешь судить, – хмуро сказал он.

Все семейное счастье, легкое, ненатужное, их избранность и близость, безграничность доверия, – все рухнуло в один миг. Но он, кажется, не понял. Василиса уставила свой единственный глаз в Павла Алексеевича.

Елена встала. Дрожащей рукой опустила чашку в мойку. Чашка была старая, с длинной трещиной поперек. Коснувшись дна мойки, она развалилась. Елена, оставив осколки, вышла из кухни. Василиса, понурившись, шмыгнула в свой чулан.

Павел Алексеевич двинулся было за женой, но остановился. Нет, пусть это будет жестоко. Но почему же бродячих кошек она подбирает, а к несчастной Лизавете не испытывает сострадания? Судья нашлась… Пусть подумает…

Елена думала всю ночь. Плакала, и думала, и снова плакала. Рядом, на всегдашнем мужнином месте, лежала теплая Танечка. Павел Алексеевич ушел в

кабинет. Не спала и Василиса Гавриловна. Она не думала. Она молилась и тоже плакала: теперь Павел Алексеевич выходил злодей.

Павел Алексеевич несколько раз просыпался, тревожили неопределенно темные сны. Он вертелся, сбивая скользящую простыню с кожаного дивана.

Утро началось очень рано. Василиса вышла из каморки сразу же, как только услышала, что Павел Алексеевич ставит чайник. Объявила ему, что уходит от них. Это было уже не в первый раз. Случалось, что Василиса, обидевшись неизвестно на что, просила расчет. Обычно же, накопив в душе недовольство, она исчезала на несколько дней, но вскоре возвращалась.

Павел Алексеевич, со вчерашнего еще не отошедший, буркнул:

– Поступайте, как вам будет угодно.

* * *

Он чувствовал себя отвратительно и даже открыл буфет, поискал там. Бутылки не было. Посылать Василису не хотелось, да и рано было. Он налил стакан чаю и ушел в кабинет. Елена из спальни все не выходила. Василиса собирала вещи. Лизаветины дети шуршали в Таниной комнате чужими невиданными игрушками и ждали завтрака. Тома им внушала, чтоб ссорились потише.

Когда Елена вышла на кухню варить утреннюю кашу для всей оравы детей, Василиса Гавриловна в новой кофте и новом платке появилась возле плиты со скорбным и торжественным лицом:

– Елена, я уезжаю от вас.

– Что же ты со мной делаешь? – ахнула Елена. – Как же ты меня оставишь?

Стояли, глядели друг в друга, обе высокие, худые, строгие. Одна старуха, на вид более старая, чем на самом деле, вторая – под сорок, тоже уже в возрасте, а на вид – все те же двадцать восемь.

– Ты как знаешь, а я с ним жить больше не стану. Уеду, – отрезала старуха.

– А я как же? – взмолилась Елена.

– Он муж тебе, – насупилась Василиса.

– Муж… объелся груш, – только и сказала Елена.

Жизнь без Василисы Елена себе не представляла, особенно в этой неожиданной ситуации, с чужими детьми-сиротами в доме. И Елена уговорила Василису Гавриловну отложить отъезд хотя бы до того времени, пока с полосухинскими детьми не образуется.

– Ладно, – хмуро сказала Василиса. – А как похороним Лизавету, я уйду. Ищи себе, Елена, другую прислугу. Я с ним боле жить не буду.

* * *

Похороны состоялись лишь на шестой день, когда закончили экспертизу и научно убедились в том, что и так было ясно. Съехалась родня, почти одни только женщины: мать, две сестры, несколько старух в разной степени родства, от золовки до кумы. Единственный косенький мужичонка назывался деверь. Таня, один раз заглянувшая вместе с Томой на «фатеру», дивилась этим людям и тихонько спрашивала у Томы разъяснений, кто кем кому приходится.

Вся полосухинская родня была тверская, но из разных деревень, из материнской и отцовской. Томин родной отец погиб в войну, и младшие братья были не его, неизвестно чьи, только фамилию погибшего даром носили, и отцовская родня Лизавету не жаловала.

Можно даже сказать, родня враждовала. Эти люди шумно и дружно ссорились, плакали и обвиняли друг друга в каких-то довоенных потравах и покражах, поминали какую-то таинственную осьмерицу и полоток… Все это звучало как бы на другом языке. У Тани создалось впечатление, что они играют в какую-то взрослую игру – делят что-то понарошку… Но делили взаправду…

Елена собиралась взять с собой Таню на отпевание и на похороны, но Павел Алексеевич не разрешил. Елена же считала, что Таня должна пойти из-за Томы – просто рядом постоять в такую минуту. Это разногласие еще более углубило их молчаливую ссору. Он настаивал, он громыхал, он требовал оставить Таню дома:

– Она впечатлительный ребенок! Зачем ты вовлекаешь ее во все это? Мракобесие какое-то! Я понимаю – Василиса! Но Танечке что там делать?

– А почему ты думаешь, что у тебя есть право голоса? – Кроткая и вовсе не мстительная, она нанесла удар сокрушительный. И сама не знала, как это получилось. – Ты ведь Тане не отец…

* * *

Это была низкая месть. Удар пришелся в цель. Это был тот редкий случай, когда оба дуэлянта проиграли – живых не было.

Но на похороны Таня тем не менее не пошла – у нее поднялась температура, и она осталась в постели.

На другой день после похорон старшая сестра Лизаветы Нюра уехала, забрав двух племянников. Тому по уговору должна была взять младшая, Феня. Но у той что-то не получалось, она должна была менять какие-то венцы, и Тане, которой обо всем рассказывала Тома, представлялся цветастый деревенский хоровод и рослые девушки, обменивающиеся сплетенными из васильков и ромашек венками. В чем заключается препятствие с венцами, Таня не поняла. Но вскоре пришла сама Феня, большая черноволосая женщина, похожая на покойную мелкую и белобрысую Лизавету разве что своей редкостной некрасивостью.

Она долго сидела на кухне с Василисой и Еленой, плакала, потом чему-то смеялась, выпила два чайника чаю. Сговорились на том, что она пока оставит Тому здесь, в городе, а как покончит с венцами, так и заберет. Во все время разговора Тома, сгорбившись, стояла в коридоре с зимним пальто в охапке и набитым школьным портфелем, ожидала решения.

Поздно вечером, когда все разошлись, Тома пробралась к Василисе Гавриловне в чулан – с прислугой она все-таки чувствовала свободнее, чем со всеми

остальными членами семьи, включая и Таню. Тома заглядывала в Василисин живой глаз, теребила ее за подол:

– Теть Вась, я полы могу мыть и стирать. И печь топить могу… Я у Фени не хочу жить-то, у нее своих полно… Василиса прижала ее голову к своему боку:

– Эка ты глупыга. Печи у нас нет. Полы мы сами не моем, полотер приходит, натирает. Но ты не бойся, делов в доме на всех хватает…

* * *

Елена за похоронными хлопотами как-то упустила из виду Василисины слова об уходе. Ссора ее с мужем за эти дни очерствела, как будто коркой покрылась. Они почти не разговаривали, только по домашней необходимости. В первый же вечер, когда дети Полосухины появились у них дома, еще до ссоры, Елена постелила мужу на кушетке в кабинете, Таню взяла к себе в спальню – тогда это было не обозначение ссоры, а бытовая необходимость: некуда было уложить трех детей… И так оно было всю неделю, до самых похорон Лизаветы.

Как знать, не случись этой необходимости, может, нашел бы Павел Алексеевич слова или жесты, смягчающие обиду, жена поплакала бы на его широкой густоволосой груди, удостоверившись в мужней любви, и все пошло бы своим обычным порядком…

На следующее после похорон утро Елена обнаружила на кухне Василису Гавриловну в шелковом, подаренном на Рождество новом платке, в новых туфлях… Она прямо сидела на стуле, а рядом стоял маленький фибровый чемодан и большой узел с бельем и подушкой.

Елена села рядом и заплакала. Василиса опустила зрячий глаз, рот собрала в горстку, руки прижала к груди, крестом, как перед причастием. Молчала.

– Да куда же ты, Васенька? – Елена не ожидала от Василисы такой твердости.

– А откуда пришла, туда и уйду, – сурово ответила Василиса. – Бог с тобой, Елена.

Смотрела Василиса прямо, один глаз белый, другой голубой. Неприятный взгляд.

«Неужели она нас совсем не любит?» – ужаснулась Елена. Вынула из сумки все деньги, что у нее были, и молча отдала Василисе.

Василиса поклонилась, взяла свои пожитки и пошла… Так просто. Как будто и не прожила вместе с Еленой двадцати лет. Исчезла, не простившись с Таней, с Павлом Алексеевичем. Не оглянувшись.

## 11

Василиса совершенно точно знала, откуда пришла и куда уйдет: из земли в землю. Сегодняшним языком выражаясь, у нее было сознание командированного, которому надлежит исполнить возложенное задание и вернуться к месту постоянной работы.

Обстоятельства ее земного пребывания были с самого рождения таковы, что ее родная мать говорила о своей поздней и нежданной дочери: она у нас бессчастна и бесталанна.

Старшие ее брат и сестра, дожившие до возраста и не растворившиеся в земле во младенчестве, как шесть или семь – Василисина мать точно не помнила числа – младенцев, зарытых на деревенском кладбище, давно отделились от родителей и уехали. Старшая сестра Дуся служила в Москве в прислугах, а брат Сергей женился в соседнюю губернию.

Первое Василисино несчастье случилось с ней очень рано. Ей было два года, когда единственный на родительском дворе петух, неказистый и безголосый, подпрыгнув, клюнул ей в глаз. Девочка пискнула, но никто этого не заметил. Начало расти бельмо, и к семи годам глазик заволокло белесой пленкой.

Родители Василисы год от году беднели, болели, и, когда Василисе шел одиннадцатый год, отец ее умер. Овдовевшая мать помыкалась год и переехала к старшему сыну, у которого было хорошее хозяйство под Козельском. В доме сына отнеслись к ним как к лишним ртам, поселили в баньке, к столу не звали.

Василиса с матерью работала на огороде, почти одним огородом и кормились, хлеб приносил Сергей по праздникам, либо под настроение, когда выпьет вина.

Верстах в сорока от тех мест процветала, уже клонясь к закату, знаменитая Оптина Пустынь. Духовное дело к этому времени отчасти превратилось в ходовой товар, особенно выгодный для держателей постоялых дворов и трактиров, не говоря уже о монастырских гостиницах, со всей России приезжали, приходили пешком тысячи людей всех сословий. Одна из таких дорог проходила и через село, где жил брат Василисы. Он не принадлежал к тем ловким людям, кто умел извлекать выгоду из полезной географии жилища, а, напротив, постоянно раздражался беднейшими паломниками, которые то просились на ночлег, то попрошайничали, а то и норовили стащить что плохо лежит. Главную массу этого пешеходного потока составляли нищие и полунищие, монахи и полумонахи, и всех их брат ненавидел, считал сбродом и бездельниками. Сам Сергей никогда в знаменитом месте не был, ходил в сельскую церковь три раза в год и из всех церковных постановлений строго соблюдал только одно – по большим праздникам не работал.

Василиса брата боялась, он с ней никогда не разговаривал, и только от матери она знала, что в молодые годы Сергей был певец, плясун, красавец, а нрав его переменился, когда отказала полюбившаяся ему девица. Мать его жалела, но сам он никого не жалел: ни своей немилой жены, ни собственных детей, ни тем более кривенькой Василисы. Зимой мать простудилась и умерла. Василиса осталась в большой семье, для которой была лишь помехой.

Вскоре после смерти матери соседка взяла Василису на праздник в Оптину Пустынь. Василиса сбила ноги, пока дошла, еле выстояла долгую монастырскую службу, не получив ни радости, ни облегчения. Зато на обратном пути с ней произошло чудо, хотя и описать его почти невозможно, настолько оно было скромным и незначительным, как раз в размер Василисы. Спутники ее решили отдохнуть, она прилегла в десятке метров от дороги, в густом орешнике, и заснула. Недолго проспала, проснулась от голосов – ее звали идти дальше. Пока она спала, сумрачный хмурый день просветлел, а когда открыла глаза, как раз разошлись тучи и широкий, толстый, как бревно и почти такой же весомый солнечный луч пробил в туче дыру и упал на полянку прямо перед ней, высветив на земле круг… Собственно, это и было все чудо. Она знала, что круг этот и есть Иисус Христос, что он живой и ее любит. К тому же она была совершенно уверена, что видела это чудесное явление двумя глазами, настолько картина эта была выпукла и не похожа ни на что другое, виденное ею в жизни.

Всю дорогу она тихо плакала, и добрая соседка подумала, что девчонка стерла ногу. Она сняла с головы платок и велела обернуть ступню. Василиса не перечила, ногу обернула и шла всю дорогу, хромая, потому что лапоть стал ей от платка мал, жало ногу.

Зиму Василиса кое-как пережила у брата, а весной он отправил ее в Москву к сестре Дусе. Дуся хотела пристроить ее к какому-нибудь делу. Уговорилась, что возьмут ее ученицей в белошвейную мастерскую на Малой Никитской, которую держала сердобольная женщина, из немцев, Лизелотта Михайловна Клоцке. Хозяйка, как увидела Василисино бельмо, поняла, что с одним глазом не будет из девочки путной работницы – и с двумя хорошими женщины за двадцать лет работы слабели глазами. Но она не отказала сразу, разрешила поучиться. Хотя Василисе было всего четырнадцать лет, пальцы ее от деревенской жизни огрубели, и мелкие иголки, тонкие нитки в руках ее не держались. Тогда ее поставили на глажку – но и это дело оказалось не вовсе простым. Другие девушки маленькими паровыми утюжками прессовали складочки, и они делались жесткими и острыми, почти как листья осоки, только что палец не порежешь, а у Василисы складочки то и дело заминались неровно, и приходилось снова мочить, подсушивать… Видя, что новенькая, при всем своем прилежании, к ручному труду дарования не имеет, добрая хозяйка поручила ей уборку мастерской.

Грязи Василиса сама не видела, на все ей надо было пальцем показать, зато, разглядев, что именно требует уборки, терла не то что дочиста, а до упаду… Сама она не знала даже таких простых вещей, что веник надо смочить, а пол сбрызнуть, прежде чем мести. Да и откуда знать, когда она всю жизнь прожила на земляном полу. Когда ей на это указали, то пол она сбрызнула так, что потом надо было не веником мести, а тряпкой воду собирать. Так что и здесь оказалась она бесталанна.

Держать в мастерской Василису Лизелотта Михайловна Клоцке не могла, но выгонять пожалела, потому решила посоветоваться со своей гимназической подругой, Евгенией Федоровной Нечаевой. Она привела Василису к Евгении Федоровне в Трехпрудный переулок. Была в Василисе такая беспомощная кротость, что вынуждала этих старых подруг о ней позаботиться.

При довольно высоком росте, длинных ногах и тонком стане руки Василисины были коротковаты, а кисти, крупные и грубые, она держала постоянно сложенными на груди. Лицо длинное, вытянутое, взгляд скорбный и строгий, и

нос тонкий, тоже по лицу длинноватый, кожа смугло-розовая, гладкая, даже как будто эмалевая… Словом, не крестьянская мордашка, а византийский лик.

– Своеобразная внешность, – сказала Лизелотта Евгении, пока девочку кормили на кухне, – и совершенно не русская. Интересная внешность. Жаль, бедняжка, глаз потеряла… Подумай, Женечка, к чему ее можно приноровить, она девица очень прилежная, но к нашему делу совершенно не подходит. И в прислуги тоже, я думаю, не годится…

* * *

За кофеем старые подруги решили, что попросят о помощи их третью одноклассницу, Анечку Татаринову, которая вскоре после окончания гимназии потеряла жениха, ушла в монастырь и уже несколько лет как была игуменьей маленького женского монастыря в Н-ской губернии…

Василиса осталась в доме у Евгении Федоровны, через неделю случилась оказия, знакомое семейство ехало навещать игуменью. Попросили взять с собой Василису. При ней было письмо к игуменье Анатолии, бывшей Анечке, написанное гимназическими подругами. В письме содержалась просьба принять участие в судьбе бедной сироты. Формула эта «принять участие» повторялась уже в третий раз, но удивительным образом каждый из просителей достигал успеха…

Ехали поездом, и Василисе тоже купили дорогой билет в вагон с отделениями, усадили на бархатную скамью, и она полдороги ее щупала, услаждая пальцы необыкновенно нежным касанием. Потом принесли чай, и ей предложили, но она неловко взялась за стакан, и он вывернулся из подстаканника. Горячим чаем ошпарило ей ногу, но боль от ожога была совершенно ничто перед ужасом, который она испытала, – стакан-то разбился… Ее успокаивали добрые попутчики, но она как будто окоченела от горя – словно не стакан, а живое существо погубила.

К вечеру приехали в Н., красиво заснеженный старинный город, переночевали в гостинице на вокзальной площади, и снова бедная Василиса обмирала от непривычного великолепия. Ночевать ее поместили вместе с другой девушкой, не совсем господского вида, но и не простой, и указали постель с таким белым бельем, что она боялась испачкать собой подушку… Роскоши этой Василиса не

радовалась, а пугалась.

На другое утро рано собрались и поехали уже на двух санях – пошевнях. И сани, и лошади были щегольские, совсем непохожие на те, что были у ее брата в деревне. Санная езда была привычнее и милее, чем поезд. Монастырь был в двадцати верстах, погода самая лучшая из всех зимних погод – небольшой мороз и весеннее солнце – слепило глаза и щипало в носу… Был канун Сретенья.

Лошади бежали по укатанной дороге весело, как будто и им солнце было в радость. Ошпаренное колено сильно болело, но смятение Василисы было столь велико, что боль как будто существовала отдельно от нее.

Монастырь открылся из-за поворота, он стоял на возвышении, как кутья на блюде, весь в белом сверкающем снегу, сам белый, с золотыми куполами и сквозной колокольней, ловко вырезанной на синем, очень твердом небе… От этой внезапной красоты Василисино окоченение мигом прошло, и она заплакала. Слезы побежали из обоих глаз. Видеть-то левый глаз не видел, но плакать умел.

Сани остановились у закрытых ворот. Выскочила привратница, замахала руками, заулыбалась: их ждали.

– В доме, в доме вам приготовлено… Матушка вас еще с вечера ждет.

* * *

Других принимали в маленькой монастырской гостинице, но близких своих, эту семью, и еще несколько других, родственных, игуменья оставляла в своем небольшом домике рядом с церковью.

Девочка лет семи, как только вылезла из саней, затребовала киселя. Привратница погладила ее по меховому капору:

– Иди, иди, деточка, в трапезную, для вас в трапезной матушка велела оставить киселя и хлеба…

Но тут на крыльцо вышла небольшая сухая женщина в черном бархатном куколе и в суконном балахоне. Все замолчали, даже егозливая избалованная девочка.

Василиса поняла – это и есть игуменья…

Приехавшее семейство, захватившее с собой Василису, выстроилось в спину друг другу вдоль узко расчищенной тропки, потянулось к крыльцу. Василиса была последняя в этой очереди. Настоятельница, здороваясь с дальней родней, ощутила почти физически ужас и трепет, исходившие от кривой, бедно одетой девушки, сложившей на груди короткие руки с грубыми красными кистями.

Новую прислугу привезли с собой – решила настоятельница и поманила девушку подойти поближе. Зрячий ясный глаз девушки закрылся от страху, второй белел невидяще – настоятельница сняла с рук пуховые черные рукавички и протянула их Василисе. Василиса и взять их не смогла – уронила на снег. Семилетняя девочка, стоявшая рядом, засмеялась в меховой воротник…

Так, еще и до прочтения рекомендательного письма, игуменья дала свое сердечное согласие на принятие Василисы.

Василиса начала свое монастырское житье в четырнадцать лет – первые два года в работницах, потом стала послушницей. Послушание у нее всегда было хозяйственное: кухня, коровник, полевые работы. Пробовали ее и на других монастырских работах, но для клиросного послушания у нее не было хорошего голоса, для золотошвейных работ – особого женского дарования. Как и прежде, она считала себя существом ничтожным, неважным, не стоящим и еды, которую потребляет. Именно это так трогало настоятельницу, что на третьем году Василисиной жизни в обители она приблизила к себе послушницу, не обладающую в глазах прочих насельниц никакими достоинствами.

Игуменья стала учить Василису чтению, сначала по-русски, потом и на церковнославянском. Ученье давалось Василисе с большим трудом. Матушка Анатолия, всю жизнь знавшая за собой недостаток терпения, упражняла себя в смирении, обучая милую, но исключительно не способную к учению девушку. Один час в день, сразу после утренней службы, Василиса проводила в покоях игуменьи. Она выкладывала на край стола голубую тетрадку и смотрела на мать Анатолию преданным и испуганным взглядом. Склонная к умственным занятиям, которые сама же и считала греховными играми, владеющая с юности многими языками, игуменья изумлялась причудливому разнообразию человеческих качеств. Василиса, несомненно, являла собой верх невосприимчивости, чтобы не сказать тупости. Игуменья и представить себе прежде не могла, сколько раз может повторить человек одну и ту же ошибку, прежде чем освоить правильное

написание или произношение слова.

– Василиса, что значит «днесь»? – этим вопросом начинала мать Анатолия занятия.

Василиса закатывала в потолок свой единственный глаз и неуверенно, в пятидесятый раз отвечала одно и то же:

– Днем?

Игуменья качала головой.

– Вчерась? – заливалась в смятении краской ученица.

– Днесь – значит сейчас, теперь, вот здесь… Дева днесь Пресущественного раждает… – повторяла учительница несчетный раз, отгоняя раздражение краткой молитвой.

И Василиса радостно кивала, а назавтра снова мучительно искала в низком беленом потолке ответа на вопрос, что есть «днесь»…

Игуменье, наблюдавшей медлительность и неповоротливость ее мозгов, иногда даже казалось, что имеет дело с некоторой умственной неполноценностью. Прожив к этому времени почти двадцать лет в монастырях, она знала, что любого рода неполноценность – умственная, физическая, нравственная – явления чрезвычайно распространенные и как раз здоровый человек скорее исключение из печального правила всеобщей, всемирной болезни.

В своей новой подопечной она отмечала, кроме умственной неповоротливости несокрушимое невежество и приверженность к самым диким суевериям, и догадывалась, что в ее редкостном упрямстве кроется особый вид целеустремленности, – как у растения, которое посылает свои корни вниз, а листву вверх, и сбить его с этой привычки невозможно. Но все эти досадные особенности покрывались у Василисы редкой добродетелью, которую открыла в ней настоятельница. В душе этой неразвитой девушки жил неиссякаемый источник благодарности, редкая памятливость на все доброе, что для нее делали, и благородная забывчивость на обиды. Как ни удивительно, но именно

обиды и всякого рода поношения в отношении себя она принимала как заслуженные.

Внутри монастырской жизни – игуменья давно это знала – таились невиданные возможности для угнетения, насилия и греха. Это были особые, монастырские грехи, о которых мирские люди, погруженные в заботы о хлебе насущном, не имеют понятия. В стенах монастыря отношения между людьми приобретают и гораздо большее значение, и гораздо более острые формы. Симпатии и антипатии, ревность, зависть, ненависть томятся как запечатанные в тисках строго установленного поведения.

Настоятельнице прекрасно было известно, что над Василисой насмехаются, ее обижают, ею помыкают – но никогда ни одного слова жалобы не слышала она от глуповатой послушницы: только непрестанная благодарность шла от нее. И мать Анатолия, опытным своим взглядом проникавшая до незамысловатой ее глубины, удивлялась, что за чудо эта кривенькая девушка, обделенная красотой, талантами и столь щедро одаренная редким даром благодарности. «Смиренная душа», – решила игуменья и произвела ее в свои келейницы…

Спала теперь Василиса в сенях, у самой двери в покои игуменьи, на узкой лавке, просыпалась первое время по ночам каждые десять минут, как кормящая мать, которой все чудится, что ребенок заплакал. Проснувшись, она кидалась к затворенной двери игуменьи, опрокидывая по дороге поганое ведро или сметая поленницу – изразцовая печь в покоях игуменьи топилась из сеней… Часто будила игуменью, сон у которой с молодых лет был слабый и расстроенный. Та долго ей внушала: коли проснулась с тревожной мыслью, то следует прежде три раза прочесть «богородицу», а уж потом вскакивать. Но Василиса очухивалась от своего крестьянского сна обыкновенно уже около двери, сама испугавшись произведенного шума, и тут только вспоминала о матушкином наказе…

При всей своей тугодумности и косорукости Василиса научилась и пыль сметать пестрым куриным крылышком, и окна мыть до бриллиантового блеску, и даже чай заваривать «по-господски».

На четвертом году пребывания Василисы в монастыре умер старый священник, исповедный батюшка, много лет живший в монастыре. Появился новый, иеромонах Варсонофий. По возрасту он был молодым, едва за тридцать, но видом старообразен: складчатые веки над темными византийскими глазами, черепашья кожа, сухие губы… Образование его было изрядное, монашество с

молодого возраста – именно из таких людей и вырастали церковные иерархи.

Отец Варсонофий преподавал в губернском духовном училище историю церкви и литургику, в монастыре бывал наездами, иногда пропускал неделю-другую, если выдавался трудный семестр. Настоятельница отнеслась к нему с вниманием, даже с почтительностью, и он, обыкновенно замкнутый и немногословный, часто пил с ней чай, беседовал. Несмотря на огромную разницу в происхождении и воспитании, мать Анатолия, просвещенная аристократка, сблизилась с отцом Варсонофием, сыном железнодорожного рабочего и крестьянки. Она высоко оценила нового священника: не так уж часто в монашеской среде можно было встретить человека, интересующегося жизнью, протекающей за воротами монастыря.

Сама мать Анатолия сохранила свои мирские привычки – читала светские книги, даже литературный журнал присылали ей подруги, в церковной среде слыла радикалкой – всегда восхищалась Филаретом Московским, была сторонницей перевода Библии на русский язык, то есть, по мнению некоторого церковного начальства, была не вполне благонадежна на предмет склонности к лютеранству… Молодой монах в ту пору держался иных, гораздо более строгих взглядов – никакого склонения в лютеранскую сторону не позволял, непримиримо относился к католикам и, неукоснительно читая все новое богословие, особенным, отрицательным образом отмечал в нем Владимира Соловьева, которому был большой противник.

Василиса, прислуживая за столом, оказывалась постоянной свидетельницей их разговоров. Убрав чайную посуду, она садилась на лавке у двери, млела от умных речей и недоумевала, с чего бы это господь привел ее на такое завидное, сытое и божественное место… Она очень помнила надсадную работу с самого детства, ломоту рук и спины, постоянную боль в животе, которой страдала, пока не попала в монастырь, голод и, главное, холод, не отпускающий ее многие годы, с малым перерывом на быстро мелькающий июль—август…

В последнее предвоенное лето отец Варсонофий покинул их на три месяца – совершал паломничество на Святую Землю. Во время его пребывания в Палестине стало известно, что началась война, и он последним пароходом приплыл на родину. Вернулся он под сильным впечатлением от святынь, в особенности от самого Геннисаретского озера, которое он обошел вокруг, совершая моления в каждом из святых мест, сохранивших от древности главным образом географические названия…

Василиса, сидя возле двери, коченела от потрясения: своими глазами она видела того, кто, в свою очередь, видел Галилейское озеро, развалины синагоги в Капернауме, где был сам господь, и отдаленное и книжное обрело плоть и запах. Запах, впрочем, от самого монаха исходил все тот же – не часто мытого тела в смеси с ладаном, пропитавшим его одежду, сырости и пастилок, которые от жевал от мучившей его зубной боли. Василиса тайком вытянула из его дорожного длинного пальто прелую нитку, поскребла подошвы галош, в которых он совершал путешествие, и, завернув в серебряную бумажку, хранила, как святыню. Даже к себе самой она стала относиться с некоторым уважением – как к существу, видевшему того, кто видел Святую Землю…

Так, сидя при дверях завороженной мышью, в последующие два года Василиса узнала о ходе российской истории – о неудачных военных действиях, об отречении государя… Здесь же, на лавке, узнала она и о подготовке Собора и возможном избрании патриарха, и о свершившейся революции…

Летом семнадцатого года отец Варсонофий был вызван в Москву. Но игуменьи он не забывал, посылал время от времени письма. В начале восемнадцатого года он прислал игуменье с оказией длинное письмо, в котором описывал осенние события в Москве и Петербурге, выборы патриарха и свое сослужение с избранным патриархом Тихоном в Николо-Воробьевском храме. Бегло упоминал о том, что накануне был хиротонисан в епископы. Этим последним известием игуменья поделилась с Василисой.

– Апостол больше епископа? – спросила, столбенея от собственной наглости, Василиса.

– Апостол больше епископа, деточка, – устало ответила игуменья и в который раз удивилась, какие детские вопросы занимают Василису.

Через несколько месяцев настоятельница получила от нового епископа большой пакет, в котором, кроме письма, лежали напечатанные на дрянной бумаге, с чудовищной орфографией, отчеты о революционных преобразованиях. Разобраться в противоречивой бессмыслице советской речи игуменья не сумела, хотя внимательно их исследовала через маленькие очки на черном шнурке. В письме, написанном крупным каллиграфическим почерком, среди прочего она прочла: «Начинаются жестокие гонения. Нам предстоит быть тому свидетелями. Радуйтесь!»

На другое утро сама отправилась в Н. к архиепископу за разъяснениями. От него она узнала последние новости – об отделении церкви от государства, о беспорядках в Петрограде, об убийстве священника Петра Скипетрова и митрополита Владимира…

– Монастыри все закроют, – шепнул владыка, благословляя игуменью на пороге.

Матушка ужаснулась, не совсем поверила, но, вернувшись, стала сокращать хозяйство, готовить монастырь к неопределенным и, разумеется, нерадостным переменам, которых теперь ожидала. Однако предвидеть размер грядущего бедствия не могла. Кое-что она успела сделать: по-евангельски раздала хозяйственные запасы крестьянам, очень тайно, очень разборчиво, оставив только самое необходимое; велела в алтаре под престолом прорубить тайник, поставила туда окованный железом сундук со святынями; ценный монастырский архив отправила с посыльным в епархиальную библиотеку. Мысль о закрытии монастыря она уже приняла, но представить себе, что закроют и старинную церковь, не могла.

Она собрала послушниц и монахинь, объявила, чтобы они подумали перед наступлением тягчайших гонений, не уйти ли им из монастыря. Четыре послушницы вернулись по родительским домам. Но все монахини решили остаться. Настоятельница объявила им, что времена переменились, что многим надлежит пострадать за свои грехи и за грехи ближних, что путь большинства идет через мир, и, живя в миру, пусть останутся они сестрами друг другу и невестами во Христе.

Больше ничего мать Анатолия сделать не успела. Ее забрали за несколько дней до закрытия монастыря. Повезли в тюрьму в Н. Василиса попросилась с ней, и власть человеколюбиво согласилась. Игуменья готовилась к худшему, но ей объявили трехлетнюю высылку в Вологодскую губернию. Спустя неделю Василиса, проявив неожиданную сметливость, съездила в монастырь, собрала остатки игуменьиного хозяйства, две гарднеровские чашки и спиртовку-кофейницу, немного постельного белья, шпопаного-перештопаного и даже наволочку с инициалами, вышитыми в мастерской Лизелотты Михайловны Клоцке в незапамятные времена. С тем и поехали.

Путешествие, как ни удивительно, было скорее приятное, в хорошем вагоне, с еще четырьмя священнослужителями – двумя деревенскими попами, неизвестно

чем перед новой властью провинившимися, епархиальным библиотекарем и самим владыкой, недавно обещавшим игуменье скорое закрытие монастыря. Сопровождал их один-единственный красноармеец, крестьянский парень, еще не вполне проникшийся революционным духом. К преступникам он относился с неизжитым почтением, подобающим их сану…

Три года обратились для Василисы и ее настоятельницы в одиннадцать. Одиннадцать суровых, мучительных и героических для старой настоятельницы и благодатных для Василисы. Теперь, в привычных для нее деревенских условиях, она оказалась для мало приспособленной к этой жизни монахини кормилицей, покровительницей, ангелом-хранителем. Трижды им меняли поселения, каждый раз все дальше на север, пока не загнали в Каргополь, милый деревянный город, где и умерла мать Анатолия на семьдесят восьмом году жизни.

За несколько дней до смерти мать Анатолия напутствовала Василису, велела ей после похорон здесь не оставаться, а ехать в Москву, в Трехпрудный переулок, к Евгении Федоровне Нечаевой. Благословила и наказала ничего не бояться. Василиса сделала все по слову своей наставницы: похоронила, дождалась сорокового дня и поехала. Был с ней красный бархатный кошелек с двумя царскими червонцами, матушкиным наследством, и серебряная бумажка с палестинскими святынями.

В Трехпрудный переулок она попала в конце декабря. Евгения Федоровна ее приняла. В домкоме еще заседали люди, помнившие старого Нечаева, строителя. Один из таких памятливых за два червонца и вписал одноглазую инвалидку Василису в домовую книгу. Бархатный кошель со святынями остался на память. С этого времени и жила Василиса в семье Евгении Федоровны, с Еленой, а потом прибавился и Антон Иванович. Служила, как привыкла, с утра до ночи, не оставляя себе ни зернышка мысли, времени, даже досуга – сначала Евгении Федоровне, потом Елене, Тане и всем, кого считала своими благодетелями…

Была у нее только одна странность: раза два в год – один раз это обыкновенно случалось весной, после Пасхи, – она все бросала и исчезала на неделю, а то и дней на десять. Не предупреждая заранее, ничего не объясняя…

– Нашей Василисе свободы захотелось, – посмеивался Павел Алексеевич.

Это и впрямь была ее единственная роскошь – уехать, когда душа ее просилась, в деревянный город Каргополь, на могилу к Анне Татариновой, инокине Анатолии, все там прибрать, покрасить и поговорить с ней, единственным родным человеком. Все прочие были двоюродными…

## 12

Занятия в школе окончились, как и преждевременная жара. Пошли холодные дожди. Стали собираться на дачу. Василиса уехала, несмотря на все Еленины уговоры, и Елена чувствовала себя совершенно растерянной – вся жизнь без Василисы перекосилась, не говоря уж о переезде на дачу – обычно все сборы тихо и загодя организовывала Василиса, и теперь Елена никак не могла сообразить, сколько брать с собой макарон и керосину, сахару и соли, куда все это складывать и как паковать…

Тома старалась изо всех сил всем быть полезной, услужить, особенно Тане. Таня и раньше в ее глазах была существом высшего порядка, а теперь, когда они все дни проводили вместе, она чувствовала Танино к себе расположение, готова была на нее молиться.

Павел Алексеевич переехал на дачу вместе со всей семьей, но в то лето он там почти не жил, только приезжал по субботам. Воспитательная ссора его с женой, которая казалась ему поначалу не такой значительной, выросла в полный внутренний разлад. Слова Павла Алексеевича о ее женской неполноценности сидели занозой в душе у Елены. Препятствие оказалось непреодолимым – ночевала теперь Елена на диванчике на закрытой террасе. Павел Алексеевич, когда приезжал, оставался в кабинете наверху, спальня их пустовала. Он тоже был несказанно оскорблен: Елена своими словами как будто лишила его отцовства.

Оба страдали, хотели бы объясниться, но повиниться было не в чем – каждый чувствовал себя правым и несправедливо обиженным. Объяснения между ними были не приняты, да и обсуждать интимные стороны жизни они не умели и не хотели. Отчуждение только возрастало.

По воскресеньям Павел Алексеевич вставал рано, поднимал девочек и вел на речку. Они до обеда полоскались, он учил их плавать. Потом возвращались, обедали. Тома старалась не скрести ложкой по тарелке, пользоваться вилкой и не набрасываться на хлеб…

Несмотря на весь внутренний разлад, семейная машина ехала по накатанной дорожке: Павел Алексеевич приносил в дом свои немереные деньги, Елена зачитывала списки, отправляла переводы и посылки, но без Василисы этот праздничный и торжественный ритуал как будто терял смысл. Два случайно совпавшие события – семейная ссора и приход в дом Томы – как-то соединились вместе, и Елена с глубоко запрятанной неприязнью наблюдала за мышевидной девочкой, едва достающей Тане до плеча…

В самом конце лета вернулась Василиса – как ни в чем не бывало. Увидев ее на дорожке, ведущей к террасе, Елена заплакала. Заплакала и Василиса. Была она до черноты загорелой и еще более худой, чем обыкновенно. Не объяснила ничего, а Елена и не стала ничего спрашивать. Обе были счастливы. На другой день пришло письмо от Томиной тетки – она просила «передержать племянницу хотя бы до Рождества». Елена читала письмо, а Василиса кивала сухой головкой в такт словам. Помолчали. Потом Василиса сварила кофе – это была ее единственная пищевая слабость, и она в своих скитаниях более всего, кажется, по кофе и стосковалась… Василиса налила большую кружку жидкого коричневатого напитка и первой начала разговор, который давно уже висел в воздухе:

– Ну что же, надо с Томочкой-то решать… Не щенок, не котенок. Феня-то ее брать не хочет. Либо в детдом определять, либо оставлять.

– Да я уж думаю, – нахмурилась Елена. Сердце ее никак не лежало к этой девочке, но она уже знала, что сердце ее не имеет никакого значения, ребенок этот уже пристал к дому и деваться некуда…

– А я думаю, оставлять надо. Уж больно она нехороша, – такова была непостижимая логика Василисы Гавриловны.

– Вася, что ты говоришь? – изумилась Елена. – Потому брать, что нехороша?

– Так кому она нужна будет, Елена? Ни рожи, ни кожи, еле учится. А у нас будет сыта, обута, одета. За Таней вон сколько всего остается. А там господь досмотрит… Не наше дело…

– Выходит, удочерить… – кивнула Елена обреченно.

– А с ним поговори. – Со своего возвращения Василиса имени Павла Алексеевича не произносила, только «он».

У Павла Алексеевича оказалось, как ни странно, готовое решение. Видно, он еще раньше об этом подумал: оформить опекунство.

«Ну конечно, как я сама не догадалась», – радовалась Елена, которая никак не могла увидеть себя в роли матери малосимпатичной девочки. И Василиса Гавриловна радовалась, не вникая в тонкости юридических различий между опекунством и удочерением.

Радовалась и Таня – Тома заняла в ее жизни особое место, что-то вроде говорящей собачки, о которой надо заботиться. Она в рот куска не брала без Томы, всегда готова была отдать ей все лучшее, но временами, устав от ее молчаливого и робкого присутствия, ускользала одна погулять или в соседские гости… Тома не обижалась, но ходила за Таней хвостом, боялась упустить ее из виду.

Перед самым отъездом с дачи Павел Алексеевич сам объявил Томе, что приглашает ее пожить у них в доме, пока она не подрастет и не получит образование.

– Хорошо, поживу, – с достоинством приняла предложение девочка.

В глубине души она была ужасно разочарована. Ей бы хотелось, чтобы Павел Алексеевич был ей настоящим отцом, как Тане.

К сентябрю вернулись в Москву. Томочка была теперь принята в дом окончательно, и все потекло обычным порядком. Только семейное счастье Елены Георгиевны и Павла Алексеевича сникло и увяло. Неуклюжие попытки Павла Алексеевича восстановить супружеские отношения успехом не увенчались. В

особенности последняя, когда он, в один из своих запойных периодов, среди ночи вошел в спальню, где Леночка смотрела свои одинокие и поучительные сны, и, не замечая ни ее протеста, ни отвращения, совершил безрадостное насилие и только утром, опомнившись, ужаснулся ночному происшествию.

Он пытался просить прощения, она кивнула и, не поднимая головы, сказала ровно, безо всякой интонации:

– Здесь нечего обсуждать. Я только прошу, чтобы этого больше никогда не было.

Он видел пружинистую прядь, всегда выбивавшуюся из пучка и петлей висящую ото лба к уху, видел скулу и кончик носа, сгорал стыдом и желанием, и отдал бы в этот миг без колебаний лучшее, чем владел, свой безымянный дар, чтобы вернуть счастливую простоту и легкость, с которой еще недавно он мог положить указательный палец в ямку под мягким пучком волос и провести от шеи вниз, по узкому позвоночнику, уложенному в ровном желобке вдоль спины, до чуть выпуклого крестца, – Os sacrum, сакральная кость… Почему, кстати, сакральная именно эта? – и ниже, раздвинув плотно сжатые Musculus glutaeus maximus, миновав нежно-складчатый бутон, проскользнуть в тайную складку Perineum, развести чуть вялые Labium majus, робкие Labium minor, замереть в Vestibulum vaginae, коснуться атласной влажной слизистой, – уж он-то знал всю эту анатомию, морфологию, гистологию – приласкать пальцем продолговатое зернышко Corpus clitoridis, – пропуск, пробел, сердцебиение… дальше, дальше, – пройти по редколесью волос, под которым прощупывается изгиб Mons pubis, перешагнуть через косметический, двойного шитья шов – не знал, что для себя старался, – подняться к маленькому, с мелкой воронкой пупку, пройти между разбежавшихся в разные стороны, заостренных к соску грудей и остановиться у подключичной ямки так, чтобы под ладонью расходились Clavicula, фигурные скобочки ключиц…

Он сморщился всем лицом и застонал – все ушло, все пропало. Молча вышел он из спальни, прошел в кабинет, вынул из-за шторы непочатую бутылку и откупорил… Выпил. И улыбнулся – это мстила ему удаленная десять лет тому назад больная, нагноившаяся матка. Гадина.

Непонятно, как родились в голове эти дурацкие слова, сказанные сгоряча и в раздражении… Как угораздило это сказать ей: «не женщина»? Это она-то, предел женственности, само совершенство. Потеряно. Все потеряно. Он выпил еще полстакана и понял, что заснуть сейчас не сможет. Достал из нижнего

ящика стола свою любимую папку с синей надписью ПРОЕКТ. И раскрыл. Прочитал первую страницу – имя Сталина упоминалось дважды. И опять его передернуло.

«Как это я ухитрялся прожить до старости лет в счастливом заблуждении, что я порядочный человек?» – задал себе Павел Алексеевич жестокий вопрос. Он вынул первую страницу рукописи, сложил вчетверо, и вчетверо сложенную бумажку разорвал дважды. Аккуратные обрывочки опустил в корзину для бумаг. Просмотрел рукопись до конца – больше имя вождя в ней не упоминалось. Он зевнул, потряс головой, но избавиться от отвратительного душевного скрежета не смог и понял, что ничего не остается как заснуть.

Жену свою Павел Алексеевич больше не беспокоил. Равно как и не пытался вернуться к обсуждению нового печального положения вещей.

Последний ночной эпизод, совершенно не укладывавшийся в Еленино представление о собственном муже, на самом деле мало что изменил: ее обида была столь глубокой, что она уже ничего не могла с собой поделать. Как будто сказанная мужем сгоряча фраза убила в ней все желания и отравила саму почву, из которой произрастает потребность в нежном прикосновении, в ласке, не говоря уж о супружеской близости.

Обида эта со временем не росла и не уменьшалась, она проникла на глубину, и Елена жила с ней, как живут долгие годы с родимым пятном или опухолью.

Даже внешне Елена стала постепенно меняться: похудела, заострилась. Медленно-округлые движения, мягкий, с наклоном поворот головы, кошачья повадка устроиться в кресле, на кушетке, легко вписываясь телом в любой мебельный угол – естественная, ей одной свойственная пластика, столь привлекавшая всегда Павла Алексеевича, – все это уходило от нее.

Одежда, которая прежде была ей к лицу – круглые воротнички, сборчатые рукава и невинные вырезы, открывавшие чуть одрябшую, но высокую шею, – стала тем временем немодной, и она с удовольствием перешила на девочек свои светлые, в мелкий цветочек, в веночек, в букетик платья и купила костюм летний и костюм зимний, преобразившись в школьную учительницу.

Павел Алексеевич, сидя за воскресным семейным обедом рядом с женой, принюхивался – среди грубоватых запахов Василисиной простой стряпни явственно проступало нечто новое: от Елены вместо прежнего цветочно-телесного аромата пахло вдовством, пылью и постным маслом. Почти как от Василисы, но к Василисиному запаху был еще подмешан не то пот, не то душок старой засаленной одежды… И он отводил взгляд от жены и смотрел на Таню, и улыбался ей – прелесть какая девочка, вся в мать, вся в Леночку… В прежнюю Леночку…

Счастливый период их брака окончился. Теперь остался просто брак, как у всех, и даже, может быть, лучше, чем у многих. Ведь многие живут кое-как, изо дня в день, из года в год, не зная ни радости, ни счастья, а лишь одну механическую привычку.

Никогда, никогда – понимали оба – не войдут они больше в ту счастливую воду, в которой плыли десять лет…

* * *

Взгляд Елены то и дело натыкался на щуплую девочку с повадками мелкого грызуна, беззлобную, безответную, жалкую донельзя, косвенную виновницу семейного крушения, которое оказалось для Елены горше всех пережитых несчастий: смерти родителей, бабушки, мужа, больше смертельной болезни и даже больше самой войны. Невозможно было жить вместе с ней, но также невозможно и отделаться от нее, отослать к родственникам, сдать в детдом. И Василиса тихонько бурчала, как будто в стену:

– А ты думала, просто? Все не просто… Потрудись-ка теперь… О-хо-хо… Такого не отмолить…

Какие Еленины грехи она имела в виду? Счет у Василисы Гавриловны был особый, непростой, но стояла за этим счетом странная, даже, может, и глуповатая, но правда.

ПЕРВАЯ ТЕТРАДЬ ЕЛЕНЫ

Жизнь моя сама по себе столь незначительна, и сама я столь незначительна, что мне никогда бы в голову не пришло что-то записывать, если бы не одно обстоятельство – память моя делается все хуже и хуже. Нуждается в каких-то подкреплениях извне: запахи, звуки, предметы, вызывающие воспоминания, указатели и отсылки… Пусть будет хоть эта тетрадка, и, когда память моя вовсе сносится, я смогу заглянуть в нее, вспомнить. Так странно, взрослеешь, умнеешь, и прошлые события приобретают совершенно иной смысл, и глубину, и божий промысел, и свою собственную жизнь хочется раскопать, как археолог вскрывает глубокие пласты, и понять, что же такое происходит со мной и с моей жизнью. Куда она клонит, на что намекает. Понять не могу, не умею. А самое ужасное в том, что мозги мои стали как старая фарфоровая чашка, все в трещинках. Мысли вдруг пресекаются, теряются, и долго ищешь хвост. Какие-то выпадения. Иногда образ человека начинает жить отдельной от имени жизнью. Родной, знакомый человек, много лет знакомый – а имя выскочило и, хоть плачь, не найдешь. Иногда наоборот – возникает имя, а за ним никто не стоит.

Пишу постоянно себе записки – не забыть то, не забыть это. Записки теряю, а тут недавно нашла и просто испугалась – моей рукой написано, но, боже, какая орфография! То буква пропущена, то слоги переставлены.

В глубине души я подозреваю, что это начало какой-то ужасной болезни. Написала своей рукой и теперь окончательно в этом уверилась. И так страшно стало. Ни у кого в нашем роду такого не было. Хотя у бабушки, кажется, была сестра старшая, которая к старости лет впала в состояние детства. Ужасно, что тогда вся прожитая жизнь делается бессмысленной. Если человек все про свою жизнь забыл – и родителей, и детей, и любовь, и все радости, и все потери, – тогда зачем он жил? На днях я вспомнила бабушку Евгению. А вот отчества вспомнить не могла. Напрочь забыла. Так расстроилась. А на второй день имя само собой всплыло – Евгения Федоровна.

Надо все-все записать. Для себя. А, может, для Танечки. У нее сейчас такой период отдаления. Она поглощена учебой, хочет стать биологом, близка к отцу необыкновенно. Да и всегда они друг друга обожали. Только он ее так не чувствует, как я. Ведь когда у нее голова болит или живот, я совершенно точно знаю, как оно болит… И то, что Танечка как будто не интересуется именно моей жизнью, а больше льнет к отцу, не имеет особенного значения. Я уверена, что

еще буду ей нужна. И ей нужно будет знать все то, что я знаю. Ведь важны не только большие, значительные события. Удивительно, но каким-то образом маленькие, незначительные события по мере удаления оказываются важнейшими. А особенно сны… Мне всегда снились сны, и такие яркие, что сейчас ранние воспоминания и детские сны как будто переплетаются, и я не всегда могу с уверенностью сказать, какая из картинок взаправдашняя, а какая – из сна… Надо, чтобы Танечка все мои мелкие мелочи знала, пока они совсем не затерялись в моей дырявой памяти. Например, мне кажется, что я помню, как впервые пошла: я одна в очень большой комнате, прижимаюсь спиной к бархатистому зеленому дивану. Наощупь щекотно. Впереди и наискосок – белая кафельная печь, голландка, и мне хочется ее потрогать. Она гладкая и притягательная. Я собираюсь с силами. Очень страшно. Идти без чьей-нибудь руки я боюсь, но, кажется, могу побежать. Зажмурившись, отрываюсь от дивана и бегу. Почти лечу. И упираюсь ладонями в кафель. Он неожиданно горячий. Я кричу. Большая усатая женщина с темным лицом появляется откуда ни возьмись и подхватывает меня на руки… Где это было? Скорее всего в Москве, в бабушкиной квартире. Мама говорила, что я рано начала ходить, еще до года. Может ли ребенок такого возраста что-нибудь помнить? Или это все-таки сон? Спросить не у кого…

Отец мой Георгий Иванович, человек недюжинный, фантазер, одаренный редкой способностью внушать свои идеи, доморощенный философ, был смолоду ярый революционер, даже с террористами знался, но после событий девятьсот пятого года обратился в толстовцы. С тех пор, как он стал толстовцем, он уже исповедовал другие идеалы, земледельческий труд стал его религией. С тех пор в городах он больше не жил, организовывал в разных землях толстовские сельскохозяйственные общины, которые одна за другой распадались, кроме последней, Тропаревской.

Отец в молодости был очень красив. Нос с горбинкой, яркие черные глаза. Наверное, примесь греческой или кавказской крови сказывалась. Мама же, напротив, на девичьих фотографиях не так хороша собой – лицо пухленькое, глаза небольшие, нос картошечкой. А вот в более зрелом возрасте, когда я уже стала кое-что понимать, мама похорошела. Она сильно похудела, лицо стало определеннее, более запоминающееся лицо у нее стало. Отец был человек безмерных страстей. Спорщик был, обидчивый, вспыльчивый и необыкновенно добрый. А вернее сказать, не добрый, а бескорыстный. Он был истинно человек будущего, как я это понимаю. Есть в его натуре что-то общее с ПА. О своей выгоде он никогда не заботился, даже и не понимал, кажется, что это такое. Готов был все отдать. Но, кроме книг, у него ничего не было, а свою библиотеку

он всегда делал коммунальной. Экслибрис у него был – какая-то завитушечка и слова «Общественные книги Георгия Мякотина»…

Ненасилие он исповедовал горячо и яростно, как все, что он делал. Теперь могу судить о нем трезво – он был сторонник ненасилия в общественной жизни, а в домашней – страшным деспотом. Но он был одарен редкой особенностью внушать свои идеи, была в нем большая заразительность, – у него самого, как у Толстого, было много учеников и последователей. Я думаю, что мама была на самом деле жертва его редкостно обольстительного характера. Она за ним повсюду следовала, во всем ему доверялась. Он уже успеет свои убеждения переменить, а она за ним не поспевает. Но у нее все было поверхностное, главное было то, что она его безмерно любила и ради него поменяла свою городскую жизнь скромной учительницы музыки на деревенскую. И в деревне она не музыку преподавала, а кашеварила на десяток человек, стирала, доила коров. Всему научилась. И все ей было не по силам, но она старалась ради папы, ей хотелось еще к тому же быть самой лучшей его ученицей. Во всем его слушалась. Кроме одного: рожать приезжала в Москву к родителям. И оставляла там совсем маленьких детей – на подрост. Я была последняя, третья. Отец очень из-за этого на нее сердился. Потому что другие толстовцы растили детей на земле. Но это было единственное, в чем мама отцу не покорялась. Меня до четырех лет растила бабушка, а потом, по настоянию отца, забрали.

Со времени коллективизации на коммуну пошли от властей страшные нападки, хотя, казалось бы, она и была тем идеальным колхозом, которые большевики намеревались устроить по всей стране. Отцу, как человеку опытному в коммунальном управлении, в первый год коллективизации даже предложили идти в начальники, организовывать колхозы. Но он отказался.

– Наши общины добровольные, на том они и держатся, а вы предлагаете организацию проводить на принципах насилия, что не согласуется с моими взглядами, – так объяснил он партийному начальству.

Поначалу их оставили в покое, но было ясно, что ненадолго. После размышлений и обсуждений решено было искать новые места для коммуны, подальше от центра, уж больно близко к столице располагалась деревня Тропарево. Начали поиски в тридцатом году, к тридцать второму они не только нашли место, но уже поставили первые бревенчатые дома в предгорьях Алтая. Перед самым переездом мама умолила отца оставить меня в Москве. Мне было пятнадцать лет, и бабушке удалось меня удочерить. Я стала Нечаева. Вероятно, это и спасло

меня от ареста – бабушкина фамилия.

Жизнь их на Алтае, в Солонакче, сложилась ужасно. С тех пор я никого из них не видела. Брата Сергея призвали служить в армию, но он отказался из идейных соображений, не хотел в руки ружья брать. Его судил трибунал и приговорил к расстрелу. Он был как отец – несгибаемый. А Вася был мягкий, ласковый мальчик, его пастушком звали. Из всех нас единственный, он действительно любил и землю, и сельское хозяйство не отвлеченно, из теоретических соображений, а от души. Его скотина слушалась. Бык Мишка за ним шел, как щенок. Васенька в Оби утонул, через пять дней после того, как ему вручили повестку о призыве. На другой день он должен был ехать в город в призывной пункт. Тридцать четвертый год. Вскоре и родителей арестовали. Дали десять лет без права переписки. Бабушка пыталась их разыскать, еще до войны все ходила стоять по разным очередям. Но никакого ответа не было получено. Она молчаливо считала, что отец всех погубил. Вообще, все толстовцы как вымерли. Я ходила на Маросейку, где прежде была вегетарианская столовая. Но там все неузнаваемо. Никакого их издательства, никакой столовой…

Но я хотела рассказать про другое – вот еще картинка раннего детства: сижу за большим столом, передо мной огромные тазы с малиной. Каждая ягода чуть ли не с яйцо. Я выдергиваю из середки ягоды толстый белый стержень, складываю в большую чашку, ягоды бросаю в ведро, как что-то негодное, как мусор. А ценность представляют именно эти белые несъедобные сердцевинки. Малиной пахнет так сильно, что, кажется, весь воздух слегка окрашен ее красно-синим сиянием… Какая-то трудная и серьезная мысль во мне ворочается о том, что самое важное может казаться другим мусором и отходами. Сон?

Всякого такого – множество. Несу миску с рубленой зеленью маленьким крольчатам. Сильные бросаются первыми, а несколько мелких, неудачных, не могут пробиться к корму. Я должна выбрать этих немощных и отделить в другую клетку. Чтобы сильные их не затоптали. Это, кажется, не сон. А может, сон? Трудно себе представить, чтобы в нашей нищей коммуне могли позволить себе такие нежности. Жизнь-то была очень суровая…

Это все цветные мелочи слегка путают и, пожалуй, смягчают картину воспоминаний. Коммуна, в которой я жила с четырех лет, Тропаревская, в недальнем московском пригороде, была небольшая, всего человек восемнадцать-двадцать и детей с десяток, все разного возраста. Но была своя школа. Читать нас учили по азбуке Льва Толстого. И первые книжки, конечно,

толстовские. Про сливовые косточки: лгать нехорошо. Про деревянную плошку для дедушки: к родителям надо хорошо относиться. Еды почти всегда мало, но разделена поровну. А когда много, такое тоже бывало, все равно стыдно было много брать.

«Учение Христа, изложенное для детей» с раннего детства помню. Четвероевангелие настоящее я гораздо позже прочитала, у бабушки… Взрослые в коммуне Льва Николаевича мало сказать любили – обожествляли. Мне же оскомину набили с малолетства. Я, смешно сказать, романы его прочла уже после войны, – в детстве и юности меня так закармливали его статьями и рассуждениями, что ни «Казаков», ни «Анны Карениной», ни даже «Войны и мира» я тогда и в руки не брала.

Но я не об этом. О другом. С раннего детства со мной происходит изредка какое-то выпадение из здешнего мира. Думаю, что многие имеют этот опыт, но из-за огромной сложности пересказа таких событий, для которых не хватает ни слов, ни понятий в нашем бедном языке, и потому никто и не пытается поделиться с другими этим опытом. Я много раз замечала, как ребенок посреди игры вдруг замирает, взгляд делается отрешенным, туманным, а через мгновение он снова катает грузовичок или обряжает куклу. Куда-то выпадает. Уверена, что всем знакомо это чувство столбняка, связанного с исчезновением времени. Можно ли это вообще описать, тем более что я совсем не писатель? Но почему-то мне кажется важным попытаться это высказать. Может быть, именно по той причине, что я совсем перестала доверять своей памяти, которая то и дело подводит.

Самое страшное, что я в жизни переживала, и самое неописуемое – переход границы. Я про ту границу, которая проходит между обычной жизнью и другими разными состояниями, которые мне знакомы, но столь же невозможны для объяснения, как смерть. Ведь человек, который еще никогда не умирал, что может сказать об умирании? Но мне кажется, что каждый раз, выпадая из обыкновенной жизни, немного умираешь. Я так люблю свою специальность чертежника как раз потому, что в ней есть точный закон, по которому все можно построить. Есть ключ перехода из одной проекции в другую. А тут переход есть, но каждый раз – неизвестно по какому закону он происходит, и оттого так страшно.

Боже милостивый, какие же там путешествия… Разные… Самое страшное и, кстати, самый страшный переход я пережила вскоре после смерти деда. Чтобы

понять это, надо рассказать еще немного о моей семье.

Деда моего все боялись, и мама, и бабушка. Что я боялась, это вполне понятно. Я вообще была девочка боязливая. Когда он умер, мне было лет семь. В двадцать втором году. Он был строительным подрядчиком, когда-то был очень богат, но еще до революции все потерял. Я мало знаю об истории моей семьи, особенно в этой ее части. Сохранилось только в бабушкином пересказе, что обвалился вокзальный павильон, который он строил, погибло несколько человек, и сам он тоже пострадал, ему ногу тогда ампутировали. Потом был судебный процесс, он его и разорил. Дед после этого процесса так и не оправился. Он сидел обыкновенно в глубоком кресле спиной к полукруглому окну, и лицо его против света было темным, особенно в солнечное время. Бабушка с дедушкой жили в Трехпрудном переулке, в Волоцких домах. Дед и строил их году, кажется, в одиннадцатом. Мансардная квартирка. Лифт никогда не работал. Долго поднимались по широкой лестнице. Дед вообще из дому не выходил. Он всегда был болен, хрипло дышал, курил вонючий табак, по квартире ходил с двумя палками. Костыль в руки не брал. Только держал рядом с диваном.

В те годы мы, я имею в виду нашу коммуну, держали коров и из Тропарева возили молоко в Первую Градскую больницу, по Калужскому шоссе. Подвода была, лошадка коммунальная. Мама иногда брала меня с собой, мы, сдав молоко, от Калужской Заставы ехали в вегетарианскую столовую на Маросейке. Морковный чай с сахарином и котлетки соевые помню… В том же доме было издательство и толстовское общество. Отец был не в очень хороших отношениях с тамошним начальством. Как ни странно, но, насколько сейчас могу судить, толстовцы все время ссорились, спорили, что-то доказывали друг другу. Отец был азартный спорщик. Со своим тестем, моим дедом, он был в глубокой вражде, по политическим каким-то вопросам. А бабушку Евгению Федоровну он слегка презирал за ее православную веру и пока не рассорился с ней окончательно, все учил ее правильно веровать, по-толстовски… Он, как Толстой, не признавал чудес и всякой мистики, для него главным было нравственное содержание. И Христос был идеалом нравственности. Я теперь смотрю на это вроде бы с улыбкой, потому что у меня постоянно перед глазами наша Василиса, у которой нравственного понятия нет ни малейшего, она так и говорит – это по-божьему, это не по-божьему, и никаких размышлений о добре и зле, одним своим глупым сердцем определяет. У папы же была на все теория.

Родителей своих мама навещала почти тайком. Во всяком случае, я понимала каким-то образом, что о наших поездках в Трехпрудный отцу говорить не надо.

Это было вроде нашей общей с мамой тайны. Как и про несколько ложек творогу, которые мама утаивала от продажи – гостинец родителям. Молочное было не для потребления. Только больным и малым детям давали молоко.

Бабушка принимала нас всегда на кухне, которая была сразу возле входной двери. Дед из дальней комнаты не выходил, и я не понимала, что бабушка скрывала от него наши приходы. Нелюбовь к моему отцу он перенес на мою маму и страшно сердился, если до него доходило, что мама бывала на Трехпрудном. Очень, очень жестоким и нетерпимым был дед. Внуков еле терпел.

Мама мне рассказывала, что он долго и мучительно умирал и страшно ругался до последней минуты, проклинал всех, богохульствовал. На похороны меня не взяли, был сильный мороз. Спустя какое-то время, думаю, не меньше полутора месяцев прошло, привезла меня мама к бабушке на Страстной неделе и оставила, потому что у меня началась ветряная оспа. Я, пока болела, ночевала в той комнате, где прежде жил дед. Уложили меня на его кушетку, которая стояла как-то странно, поперек комнаты. Наверное, в последние месяцы его жизни, когда он уже и не вставал, развернули кушетку так, чтобы с двух сторон можно было к нему подойти. Он был очень тяжелый, поменять белье бабушке было одной трудно…

Я сильно болела дня три, а потом только чесались заживающие оспины. Бабушка мне давала какое-то успокаивающее средство, и я помню, что я от него все спала и спала, перепутав даже день с ночью. Однажды среди ночи услышала я стук, будто от соседей. Я удивилась сквозь сон. Что они, ночью гвозди заколачивают? И все сильней, сильней. И каждый удар бил прямо мне в переносицу. Это потому что я сплю – объяснила я себе. Надо проснуться. Но проснуться никак не удавалось. Потом удары как будто слились, и словно невидимая бор-машина под огромным давлением впилась мне в лобную кость… Бор вгрызался все глубже, вибрация была нестерпимая, и, казалось, всю меня вовлекало в бархатно-черную вращающуюся бездну. Это был не сон, это было что-то иное. И длилось это так долго, что я успела понять две вещи – то, что со мной происходит, сильнее боли, и страдание это не физическое, какое-то другое. И второе – это черное вращение начинается в середине моего лба, образует воронку и выносит меня из времени. Меня тошнило каким-то особо мучительным образом, но если бы мне удалось вырвать, то содержимым была бы я сама… Боль обступала меня со всех сторон, она была и больше меня, и раньше меня. Я просто была песчинкой в бесконечном потоке и то, что происходило, я догадалась, как раз и называлось «вечность»…

Все эти объяснения – теперешние. Тогда, девочкой, я бы никаких слов не могла подобрать. Но до сих пор, когда я вспоминаю об этом событии, надвигается вибрирующая тошнота под самое сердце.

Но потом бор-машина отключилась. Я лежала на дедовой кушетке, но комнаты с полосатыми обоями, с полукруглым милым окном не было. Место было незнакомое, ни на что не похожее. Низкое помещение, освещенное тусклым бурым светом, таким слабым, что и потолок, и стены терялись во мраке. Может быть, это было и не помещение вовсе, а такое тесное, с нависающим над головой подобием гнусного неба, пространство. Там было много неприятного, но я не хочу напрягать свою память даже теперь, после стольких лет, чтобы восстановить детали, потому что вспоминая туда, я и сейчас начинаю себя плохо чувствовать.

Множество мутных людей-теней наполняли пространство вокруг. Среди них был мой дед. Они томительно и бесцельно передвигались, слегка переругивались, на меня не обращали внимания. Мне совсем не хотелось, чтобы они меня увидели. И особенно – дед. Он хромал, как в жизни, но палки при нем не было.

Состояние бессилия и тоски было таким тяжелым, таким противоположным жизни, что я догадалась – это и есть смерть. Как только я об этом подумала, я увидела себя на задах нашего тропаревского дома, ярким летним днем, в бликах солнца и тени. Большой поваленный недавним ураганом тополь лежал поперек дорожки, и я шла по нему, перешагивая через обломанные сучки, соскальзывая с влажного ствола, и вдыхала сильный запах увядающей листвы. Все слегка пружинило, и ствол под моим малым весом, и пласты подсыхающей листвы. Сон наоборот, отсюда туда.

Здесь, где я теперь находилась, вовсе не было ни настоящего света, ни теней. Там, за тропаревским домом, где лежало поваленное дерево, где подошва скользила по бархатистому стволу, были тени, блики, безмерное богатство оттенков. Здесь все было зыбким, коричневым, но реальным. Там – нереальным. Здесь совсем не было теней. У тьмы не бывает теней. Тени возможны лишь при свете…

Я лежала как в параличе, не могла даже пошевелить губами. Я захотела перекреститься, как бабушка меня учила, но уверена была, что не смогу и руки поднять. Но рука легко поднялась, я сделала крестное знамение и начала читать «Отче наш»…

Ко мне подошел и уставился на меня человек в глиняной маске, похожей на обыкновенный печной горшок. В прорезь маски, из глиняных глазниц на меня смотрели яркие синие глаза. Эти глаза были единственным, что имело здесь цвет. Человек ухмылялся.

Молитва моя ощутимо зависла над моей головой. Не то что она была слаба. Она была недействительна. Она была здесь отменена. Это темное место находилось в таком отдалении от божьего мира, в такой немыслимой глуши, что сюда вообще не доходил свет, и я догадалась, что молитва без света, все равно что рыба без воды – дохлая…

До меня доносилось жужжание чужого разговора, тоскливого, гнилого, лишенного смысла. Одно только вялое раздражение, вялый спор ни о чем. И голос деда: я ВЕЛЕЛ, ты ВЕЛЕЛ, я не ВЕЛЕЛ… И «ВЕЛЕЛ» этот был существом…

Тот, что в глиняной маске, наклонился надо мной, заговорил. Что говорил, не помню. Но помню, что речь его была неожиданно грубо-простонародной, неправильной, он ерничал, даже издевался надо мной. Слова его, как и бурая глина на лице, тоже были маской.

Он может говорить другими словами, он обманывает меня. «Обманщик», – подумала я. И как только я это произнесла про себя, он исчез. Я, кажется, одной своей мыслью его разоблачила…

* * *

Тени все колыхались туда-сюда, и все это длилось безвременно долго, до тех пор, пока я не разглядела, что нет у этого помещения никаких стен, а только сгустившаяся тьма создает подобие замкнутого пространства, а на самом деле это тесное и темное место огромно, бесконечно, заполняет собой все, и ничего, кроме него, вообще не существует. Это была западня, откуда не было никакого выхода. Мне стало страшно. Не за себя, за деда, и я закричала:

– Дедушка!

Он как будто посмотрел в мою сторону, но то ли не узнал, то ли не захотел узнать, а все продолжал бормотать, глядя на меня блекло-коричневыми глазами: я ВЕЛЕЛ, он ВЕЛЕЛ…

И вдруг все стронулось и стало утекать. Как тень от облака пробегает по полю, так это темное пространство стало сдвигаться, и я увидела сначала часть стены в полосатых обоях, а потом и всю дедову комнату в серой предрассветной мгле.

Я не проснулась – я просто не спала. Утренняя мгла, тягостная и неприятная в обыкновенные дни, казалась теперь живым жемчужным светом, полным обещания, потому что даже ночной мрак этого, нашего мира – оттенок нашего земного света. А то, что мне было показано там, было отсутствие света, печальное и бесприютное место. Это была она, сень смертная… И когда самый край тьмы уплывал из комнаты и проваливался куда-то на север, я услышала ясный свежий голос, несомненно мужской, который произнес:

– Средний мир.

* * *

А что это, я до сих пор не знаю… В одном только я почти уверена – все это мне было показано ради того, что там мелькнул в толпе теней мой хромой дед с сумрачным лицом.

Потом, когда я выросла, прочла и Евангелия, и послания апостола Павла, я все возвращалась к этому событию, к этой потусторонней встрече и думала, а знает ли апостол, что не все мы изменимся, а некоторые не изменятся совсем и навсегда сохранят и хромоту, и мрачность, и то, что стоит за этим – грех. Я не осуждаю деда ни в коем случае, кто кого может в нашей семье судить? Но мама проговорилась как-то, что когда шло следствие по дедушкиному делу о крушении вокзального павильона, то вина его была не доказана, но обвинение-то было в использовании некачественного материала, из-за чего и рухнул злосчастный павильон, и погибли рабочие… Воровство или взятка… Обыкновенная русская история. И что же, вот так навсегда, и безо всякого прощения? Чего же апостол-то обещает освобождение от грехов только для безгрешных? Нет, не понимаю…

А как быть с беспамятством? Если я забыла? Я теперь так много всего забываю, что наверняка и грехи свои забываю. А тогда в чем же смысл покаяния и прощения? Если нет вины, то и прощения быть не может.

Есть какие-то кусочки жизни, которые как водой смыло. Такое пустое место образовалось, как после просыпания, когда приснилась очень важная беседа с кем-то не по-человечески умным, а в дневную жизнь ничего не вытаскивается, не протискивается, и все важное остается во сне. Возникает ужасное чувство, что какие-то драгоценности лежат в замурованной комнате и войти туда невозможно. Хотя в старый сон иногда вернуться удается, и к тому же собеседнику, и продолжить разговор с прерванного места. И он отвечает, как светом все заливает. А проснешься – и опять одно гладкое место.

Вот такая плешь образовалась там, где я совершила предательство. Я это еще помню, но только как факт. Ни раскаянья, ни стыда давно не ощущаю. Видимо, сама себе простила. И ведь как я это предательство совершила – легко, безо всякого мучения, даже и колебания, даже и размышления. Я о покойном Антоне. Было такое стихотворение военных лет, страшно популярное, Константина Симонова – «Жди меня, и я вернусь»… И там в конце: «Будем знать лишь ты да я, как среди огня ожиданием своим ты спасла меня…» А я погубила неожиданием.

Влюбилась я в ПА даже не с первого взгляда, а так, как будто я его любила еще до своего рождения, и только вспомнила заново старую любовь. Антона же забыла, как будто он был просто сосед, или одноклассник, или сослуживец. Даже не родственник. А прожила я с ним ни много ни мало – пять лет. Отец моей единственной дочери. Твой отец, Танечка. Ничего не вижу в тебе ни от Антона, ни от его породы. Ты действительно похожа на ПА. И лоб, и рот, и руки. А про жесты и выражение лица, мимику, повадки – и говорить нечего. Но сказать тебе, что ПА не родной отец – невозможно. Так что, выходит, я Антона сперва предала, а потом и ограбила, лишила его дочери. Сможешь ли ты мне простить?

Вообще, я уверена, что ПА для Тани значит больше, чем я. Так ведь и для меня он тоже значит больше, чем я сама. Даже теперь, когда все между нами так безнадежно испорчено, надо по справедливости признать, что человека благородней, умней, добрей я не встречала. И никто на божьем свете не сможет мне объяснить, почему лучший из всех людей служил столько лет самому последнему злу, которое только существует на свете. И как в нем это совмещается? Все предчувствовала, все знала заранее моя душа – еще в эвакуации, когда он Ромашкиных котят унес. Я сначала не поверила даже, что он

их утопил. Теперь уж верю всему. Ведь смог же он одной фразой перечеркнуть всю любовь, все наши счастливых десять лет. Все уничтожил. И меня уничтожил. Жестокость? Не понимаю. Но об этом как раз я не хочу вспоминать. Для меня важно сейчас восстановить все то, что ускользает от меня, что всегда, еще до появления в моей жизни ПА, играло такую большую роль. Мои сны и ранние воспоминания.

То, что я вижу – что мне рассказывают и показывают – во сне, гораздо богаче и значительнее того, что я могу перенести на бумагу. У меня прекрасное пространственное воображение, профессиональное в некотором смысле. Наверное, я особо чувствительна к пространству, и по этой причине попадала в таинственные его закоулки, вроде того «среднего мира». С другой стороны, ничто не утешает меня так, как милое мое черчение, где каждое построение строго и совершенно прозрачно.

Сны, которые я вижу, находятся в какой-то зависимости от обыкновенного дневного мира, но характер этой зависимости я не берусь описать. Есть несомненная логика перехода, только вся она остается по ту сторону и в мир яви не протискивается. Мне совершенно ясно, что мои потусторонние путешествия во всякие странные места, хоть и нелегальны, но пребывание там не менее реально, чем все то, что окружает нас здесь, где я авторучкой пишу в толстой общей тетрадке, начатой Таней и брошенной в самом начале в связи с окончанием учебного года. Не менее реально, чем здешние дома, улицы, деревья, чашки.

Но опять: ключ от всего в замурованной комнате, в комнате без двери. Вообще, с дверьми и окнами в моих снах много чего связано. Эту первую, наверное, самую главную дверь я увидела очень давно, но не в детстве, уже в отрочестве. Точно не могу сказать, когда, потому что видение это всегда сопровождается ощущением встречи с чем-то, уже прежде виденным. Как если бы можно было сначала что-то запомнить, а потом уже с этой памятью родиться на свет.

Дверь эта была в скале, но прежде я увидела скалу из ослепительного свежего известняка, так полно и щедро освещенного солнцем, что все подробности его грубой фактуры, все шероховатости, овеществленная память трудолюбивой, давно вымершей цивилизации маленьких ракушечных животных, были видны как под лупой. Потом как будто перестроился мой взгляд, подкрутили какой-то винтик, легкая волна прошла по поверхности, и я увидела вырубленную в скале дверь с нанесенным на нее рельефом. Рисунок был очень четким, но не слагался

во внятное изображение. Плавные линии пересекались, свивались, впадали одна в другую, двигаясь навстречу, пока наконец мой глаз не изменился внутри себя, и тогда мне открылся смысл – я узнала высокое ложе, с плавным телом, стекающим с высокого изголовья, сложенные смиренно тонкие ручки, склоненные вокруг лобастые еврейские головы, а над всеми ними – одинокая фигура Сына с дитем-Матерью на руках…

Дверь готова была отвориться, даже как будто тень пробежала по щели проема в скале – мне предлагали туда войти. Но я испугалась, и дверь, почуяв мой страх, снова обратилась в рельеф на белой скале, и он становился под моим взглядом все более плоским, зарастал белым мясом камня, пока совсем не исчез.

Я не готова была туда входить. Но ничего невозвратного, окончательно упущенного в этом не было. Просто – не готова. Пока не готова.

Мне как будто было сказано: уходи. Пусть твой страх истратится в житейских испытаниях. А когда твоя боль, тоска, жажда понимания превысят страх, приходи снова.

Приблизительно такое я услышала у двери. И сказано было ласково. Кстати, почти всегда со мной разговаривают ласково.

Еще с дверью было вот что. Она вела из одного помещения в другое. Впрочем, ни стены, ни чего другого, похожего на препятствие между этими двумя помещениями, не было. Только дверь. Не дверь даже, а дверной проем. Но все, видимое в этом проеме, было иным: и воздух, и вода, и люди, там обитающие. Нестерпимо хотелось туда войти, но пространство проема было враждебно и не пускало. Враждебность его была так велика, что и пытаться не стоило. Я отошла. И тут же меня озарило: надо попробовать, попытаться… Обернулась. Проема уже не было. И пространства никакого не было. Только рябь в воздухе от исчезнувшей возможности.

Конец ознакомительного фрагмента.

---

Купить: https://tellnovel.com/ru/lyudmila-ulickaya/kazus-kukockogo-kupit

Текст предоставлен ООО «ИТ»
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: Купить